

Максуд Ибрагимбеков

И не было лучше брата

Окрашенные темной охрой котлы на плоской крыше белого двухэтажного здания бани возвышались над всем этим отдаленным районом города. Их монотонный рокот днем и ночью разносился над окрестными кварталами и был слышен в любом дворе даже тогда, когда налетал норд.

Жители улицы привыкли к шуму котлов и обычно не замечали его, баня была построена в середине прошлого века, и уже пятое или шестое поколение района преуспевало, плодилось, разочаровывалось, побеждало или проигрывало в многообразной жизненной борьбе под их шум. Баня здесь была единственной достопримечательностью, и никого не удивляло, что знатоки и любители настоящей бани приезжают сюда из самых дальних районов города.

Единственное неудобство, которое причиняла баня в прежние времена, был дым, четким черным столбом поднимающийся в небо и выстраивающийся затем на эмалевом голубом фоне в беспрерывно меняющиеся изображения фантастических деревьев, зверей и птиц. А при ветре коричневая мгла заволакивала улицы и выпадала на листьях деревьев и развешанном во дворах белье жирными, легко размазывающимися хлопьями копоти. Никто не жаловался, дым и копоть люди воспринимали, наверное, как неизбежное следствие закона компенсации, по которому человеку за все хорошее приходится в конце концов платить, а любой здравомыслящий человек — в районе же этом жили преимущественно люди вышеупомянутого склада ума — понимал, что за старинную баню с двух- и трехкомнатными номерами, сплошь облицованными розовым и нежно-голубым мрамором, с бассейном в общем зале и лежанками из мрамора тех же цветов, с высококвалифицированными массажистами и терщиками, а также с чайханой, в которой с раннего утра до поздней ночи подают прекрасный чай с лимоном, — дым и копоть очень небольшая плата. Со временем в кочегарке переделали топку и перешли с мазута на газ. Теперь над трубой медленно переливались густые струи почти прозрачного раскаленного воздуха, в котором в судорожном танце дергались и сгорали бумажные воздушные змеи, направляемые сюда руками и волею инициативных окрестных мальчишек, сразу сумевших оценить и использовать еще одно, и не последнее, побочное благо, выпадающее на долю предприимчивых людей, живущих в период стремительного технического прогресса.

Двор Джалил муаллима примыкал к зданию бани, к задней глухой его стене. Двор считался одним из самых лучших в околотке, стараниями Джалил муаллима он был сплошь озеленен и ухожен, и если бы не знать, что это двор городского дома, можно было бы подумать, что это дачный участок где-нибудь в приморской части Абшерона, на котором, как водится, произрастают и виноград и инжир. А у самых заботливых и понимающих «землевладельцев» — гранаты и черный тут. В очень раннее летнее утро Джалил муаллим стоял посреди своего двора и с неудовольствием прислушивался к шуму котлов, который, как ему казалось, сегодня мешает сосредоточиться и вспомнить сон, увиденный минувшей ночью.

Судя по тем туманным обрывкам, которые мелькали в его сознании и никак не соглашались соединиться в целое, сон был тоскливым и неприятным, но вспомнить его все равно хотелось, и Джалил муаллим ничего с этим мучительным желанием поделать не мог.

Он прошёлся по двору, рассеянно подвесил виноградную лозу, сорвавшуюся с талвара, недовольно покачал головой, обнаружив, что одна из кистей сильно поклевана птицами, потом подошел к огороду — несколькими грядкам общей площадью пять на четыре метра. Здесь Джалил муаллим в зависимости от времени года выращивал лук, помидоры, щавель, кресс-салат, а также различные цветы.

По его мнению, свежие овощи, сорванные прямо перед едой, особенно полезны для организма, работа в огороде и хождение по земле босиком приносит также большую пользу — через кожу ступней уходит электричество, накопившееся за день в теле человека. Знакомый фельдшер рассказал ему как-то, что в организме человека, живущего в городе, скапливается электричество, которому нет выхода вследствие изолирующего действия асфальта.

На Джалил муаллима рассказ этот произвел большое впечатление, он теперь часто очень отчетливо представлял себе, как электричество собирается в тугие тяжелые комки в области сердца и головы и давит на все нервы. Это он ясно ощущал весь день, а по вечерам непременно прогуливался по огороду, глубоко погружая ноги в землю, и каждый раз испытывал облегчение, чувствуя, как уходит в песок тяжелое напряжение. Впрочем, по мнению, никогда благоразумно вслух не высказываемому, жены и дочери, никакой разрядки в организме Джалил муаллима не происходило. А если даже какое-то количество напряжения и уходило незаметно в почву дворового огорода, то все равно в его теле оставалось столько электричества или другой, неизвестной науке формы энергии, что ее с избытком хватило бы для зарядки почвы всех огородов и плантаций в окрестностях Баку.

Осмотр огорода времени не занял, земля была достаточно влажная; как всегда, огород он поливал по вечерам, ближе к ночи. Джалил муаллим прошел к тутовому дереву в глубине двора, под которым стояли два улья — предмет гордости Джалил муаллима. Это были единственные ульи в этом районе и, как надеялся Джалил муаллим, во всем городе — до сих пор никто не сообщал ему, что в Баку кто-нибудь еще держит пчел.

Он с удовольствием прислушался к ровному гуду, издаваемому обоими ульями: пчелы уже проснулись, но еще не вылетали. Было слишком рано, и пчелы ждали момента, когда короткая предрассветная прохлада с пресной росой на чашечках спящих полураскрытых цветов сменится теплым воздухом, воздухом их мира, воздухом жизни, пахнущим нагретой влажной землей и корой деревьев, медом и цветами, теплым человеческим телом...

К пчелам Джалил муаллим относился с большим уважением. Он каждый раз испытывал чувство тихой радости и умиления, наблюдая за действиями этих трудолюбивых и самоотверженных существ. Когда же ему надо было привести в беседе наглядный пример дружбы и разумного поведения, он непременно упоминал о пчелах. По его глубокому убеждению, люди сильно выиграли бы, если бы переняли у пчел умение отдавать во имя близких все самое ценное, что у них есть. Он рассказывал о них и тогда, когда приводил примеры о взаимном уважении или вреде эгоизма, в этих случаях упоминание о пчелах оказывалось удивительно убедительным и уместным. Труднее было сослаться на них в

беседе о людской неблагодарности, беседе, после которой у Джалил муаллима появлялось чувство удовлетворения от правильности своей жизненной линии, но он надеялся, что со временем найдет, наблюдая за жизнью роя или отдельных пчел, характерные особенности, убедительно подтверждающие отсутствие в их рядах существ, страдающих самым страшным пороком — неблагодарностью.

Это наблюдение он собирался в будущем использовать для иллюстрации тех самых бесед, к ведению которых Джалил муаллим чувствовал призвание и готов был начать их при первом же удобном случае.

Собака, черная кавказская овчарка с какой-то посторонней примесью, спала на матрасике у лестницы на веранду. Она открыла глаза, когда он встал над ней, без всякого выражения посмотрела на Джалил муаллима и снова задремала.

Джалил муаллим, тихо ступая, поднялся на веранду, прошел на кухню, достал из холодильника кусок требухи, накрошил ее в миску, добавил хлеба и вернулся во двор. Собака лениво встала, подошла к миске. Джалил муаллиму очень хотелось, чтобы собака помахала хвостом. В конце концов, каждый человек имеет право на то, чтобы его собака махала хвостом, когда ее хозяин дает ей есть. Собака в два приема проглотила содержимое миски и, несколько раз лакнув воды из стоящего здесь же тазика, легла снова. Джалил муаллим пнул ее ногой, отчего собака привычно коротко взвизгнула и попыталась отпрыгнуть, но помешала веревка.

Джалил муаллим привел ее домой еще крошечным щенком, первое время он ее отпаивал молоком, а спустя некоторое время стал регулярно покупать для нее на базаре обрезки мяса и требуху. Держал ее в чистоте, преодолевая чувство брезгливости, купал каждую неделю.

Очень серьезно относился к ее воспитанию. Строгость, по его мнению, он применял по необходимости и справедливо. Зря не наказывал, ну а в тех случаях, когда это требовалось, скажем, нагадил щенок там, где не положено, или залаял посреди ночи, тогда бил его Джалил муаллим специально заведенной для этой цели плеткой — так, чтобы позвоночник или какую-нибудь кость не повредить. Когда заслуживал этого пес — обязательно отмечал, гладил, давал конфету.

Вырастил. Редко кто так за собакой ухаживает, и ведь не бог ведь какая порода — помесь. И что самое обидное, выросла собака в доме Джалил муаллима, на его корме вымахала чуть ли не с волка ростом, а за хозяина его не признает.

Как почувствует, что он в дом, сразу в кусты или куда подальше, смотрит на него, а глаза у нее безрадостные. Никто этого и не замечал. Ни домашние, ни соседи. Кому интересно, на кого как собака дворовая смотрит, службу хорошо несет — и ладно! А Джалил муаллиму обидно: ко всем собака ласкается, хвостом крутит, слюной истекает от радости собачьей и любви, а как его завидит — стоп. На привязь он ее вчера посадил: целый вечер она на другой половине двора провела, хлебом не корми, только отпусти ее на половину брата. Раз пять Джалил муаллим делал вид, что не знает, где пес, и свистел, и «Боздар!» в полный голос кричал — никакого внимания. Пришлось сына послать за ним.

Еще хуже срам, мальчишка его домой тянет, а пес всеми четырьмя лапами упирается, чуть из ошейника не вылез. Как будто не домой ведут, а на живодерню. Дал ему как следует плеткой, чтобы в следующий раз неповадно было, Боздар и рычал, и что-то в горле у него яростно клокотало, а укусить не посмел. А Джалил муаллиму хотелось, чтобы укусил его Боздар, забил бы тогда его, может быть, насмерть, по справедливости.

Джалил муаллим еще раз пнул его ногой и пошел в дом за вещами — самое уже время было идти в баню. От безмятежного настроения, в котором он пребывал при созерцании ульев, не осталось и следа. «А то, что он на ту половину бегаёт, — понятно: нарочно его приманивают, мне назло, все шлюхи этой дела, другую собаку со двора бы палкой прогнала, а эту приманивает, лишь бы мне неприятность сделать». ...Он зацепил брюки за гвоздь, непонятно по какой причине высунувшийся из ступени, и с маху разодрал по шву обшлаг. Джалил муаллим почувствовал, как все его существо охватывает темная бессмысленная злоба, непонятно против кого и чего направленная; стиснув зубы, он зашел в дом и, вернувшись с молотком, встал на ступеньку с торчащим гвоздем. Удар молотком прозвучал оглушительно, совершенно чуждо и страшно для этой абсолютной тишины раннего воскресного утра. За первым ударом последовал второй. Наверное, для спящих интервал между ними длился гораздо больше, чем на самом деле. Возможно, кто-нибудь за короткое мгновение после первого удара, показавшееся ему нескончаемым, увидел душный кошмар с землетрясением или атомной войной, также возможно, что второй удар стер в памяти это видение, оставив на его месте рубец, который, прежде чем заживет и исчезнет в будущем, заставит человека не раз вздрогнуть во сне и покроет его кожу липким холодным потом... Джалил муаллим вколачивал гвоздь все глубже и глубже, он бил изо всех сил по шляпке гвоздя, уже еле видной в центре впадинки, которую образовала сплющиваемая молотком древесина. И с каждым ударом ему казалось, что, следуя таинственным законам теории знакомого недоучки — фельдшера, злоба медленно отпускает его горло и одеревеневшую левую часть груди и плеча и перемещается по напрягшейся руке-проводнику через онемевшее запястье и горячую ладонь в самый конец головки молотка.

Звуки разносились на многие кварталы вокруг, и от каждого удара поднималось вверх пульсирующее кольцо шума, стремительно расширяющееся по мере взлета, удары учащались, и кольца, взлетающие одно за другим, образовали гигантский сачок — в самом низу, в самом центре которого сидел человек, проснувшийся в это прекрасное тихое утро раньше всех. Он, не оборачиваясь, слышал и чувствовал, как вскакивают перепуганные люди на половине брата, он знал, что, если обернется, увидит сквозь негустую зелень живой ограды лицо своего брата, смотрящего на него с изумлением и вопросом.

Он не стал оборачиваться, а поднял глаза на дверь своего дома, встретился со взглядом жены, стоящей в дверях в ночной рубашке, отложил молоток, поздоровался и медленно прошел мимо нее за саквояжем с чистым бельем.

— Я ступеньку прибивал, — вернувшись из комнаты с чемоданом, сказал Джалил муаллим жене. — Очень это опасно, когда на лестнице нет ступеньки. По-моему, я имею право забить ступеньку собственной лестницы. И самое подходящее время для этого — утро, я не обязан ждать, когда проснутся люди, привыкшие спать до полудня. Может быть, я кого-нибудь побеспокоил этим? — спросил Джалил муаллим.

— Нет-нет, — сказала торопливо жена, — я и так собиралась встать.

Джалил муаллим спустился по лестнице, повернулся к жене.

— Я приду через два часа, ты, пожалуйста, извини, я совсем забыл, что еще рано, — сказал Джалил муаллим. — А стук, наверно, был в комнате слышен?

— Ничего ни с кем не случится, — сказала жена, — оттого, что ты два раза по гвоздю ударил. В конце концов, один раз в жизни в своем доме ты тоже можешь что-то себе позволить.

Только продолжали еще у него сжиматься холодные пальцы рук и не удавалось никак остановить тик, ритмично сокращающий всю кожу на щеке, под правым глазом.

На улице почти никого не было, в воскресенье даже дворник просыпался позже обычного. Джалил муаллим подумал о том, что как было бы неплохо, если бы всегда, круглый год, в любое время суток, стояла бы вот такая прекрасная утренняя прохладная погода, как сейчас, и чтобы всегда на улицах было малоллюдно, а то ведь ничего хорошего не получается из того, что очень много людей собирается в одном месте. Только беспорядок создается и толкотня, для нервов — трепка.

Он вспомнил, как было прекрасно до войны, когда в Баку жило гораздо меньше народа, чем сейчас, и все были знакомы между собой. Все, встречаясь на улице, непременно здоровались, первыми — младшие. Все друг к другу относились с уважением; случалось, конечно, что кто-то с кем-то поспорит, но редко это случалось. С нынешней улицей ни в какое сравнение не идет.

А вот баня совершенно не изменилась — какой была, такой и осталась, и бассейн посреди зала тот же, только рыбки в нем появились золотые, а может быть, и раньше были, забывать начал?

И картина на стене — задумчивый олень в зимнем лесу над родником в снегу, — выложенная цветным голландским кафелем, та же. И пахло здесь точно как раньше — легкий запах плесени мешался с густым ароматом хны.

Кассирша Рахшанда приветливо поздоровалась с Джалил муаллимом и, не спрашивая, протянула ему две скатанные, запечатанные бумажной полоской простыни и кусок зеленого мыла.

— Гусейна я пришлю через полчаса, — сказала Рахшанда, предварительно расспросив его о здоровье жены и сына. Джалил муаллим смотрел на лицо Рахшанды, напоминающее отдаленно своими потерявшими былую форму щеками, тонкими полосками подведенных бровей, расплывшимися линиями подбородка, поблекшей кожей ту самую красивую женщину, которую он когда-то знал. Он продолжал думать о ней и по дороге в тридцать второй номер...

Как всегда, Рахшанда дала ему самый лучший номер в этой бане.

Она была старше его лет на двенадцать-четырнадцать. А в бане этой она работала вот уже лет сорок. Как пришла пятнадцатилетней девочкой, так и осталась.

Работала вначале под руководством матери, Дильбази ханум, очень опытной терщицы и массажистки, известной среди женщин своим умением быстро и без боли вправить любые

вывихи, бесследно и навечно удалить волосы с лица или с других мест, где также они женщине ни к чему... Дильбази ханум владела секретом того, чтобы оставалась кожа нежной и блестящей лет на десять, а то и пятнадцать больше положенного ей срока, знала состав, от которого волосы на голове становились гуще и приятнее по цвету, знала, как сделать, чтобы пахло тело всю ночь распутившимися розами и чтобы глаза по утрам были ясными и веки не казались припухшими. А уж если кого выдавали замуж, то купала и готовила невесту в день свадьбы обязательно Дильбази. За несколько дней приходили договариваться мать и тетки невесты. Словом, многое знала и умела Дильбази из древнего искусства обольщения и ухода за телом. Многие успела передать дочери, собиралась сделать из нее мастера, подобного себе, да не успела. Умерла Дильбази ханум неожиданно, во время беседы, после того как купание было закончено и две ее приятельницы-клиентки, в последний раз приняв прохладный душ, полулежа на теплой мраморной плите, рассказывали друг другу о своих делах семейных и несемейных, и вдруг заметили, что Дильбази опустила голову, не то задумалась, не то задремала с улыбкой на лице.

Говорили, что была Дильбази ханум красавицей неопикуемой и что Рахшанда в нее пошла.

Рахшанда работала терщицей и массажисткой, а к старости повышение получила, стала директором и по совместительству кассиршей. Но для своих постоянных клиенток и их дочерей всегда делала исключение — сама ими занималась, несмотря на директорское звание.

В первый раз Джалил муаллим увидел Рахшанду, когда звался просто Джалилом и было ему неполных четыре года. Мать взяла его тогда с собой в баню. Она поставила его под душ и сказала, чтобы он постоял под теплой струей несколько минут. А потом пришла Рахшанда, Джалил видел из-под душа, как она, заперев за собой дверь, сбросила в первой комнате, предбаннике, халат и голая вошла в комнату. Никогда до этого Джалил не видел голой женщины, если не считать, разумеется, матери. Он смотрел на нее во все глаза, стоя под душем.

— Ой, какой хороший мальчик! — сказала она и потрепала его по мокрой голове.

Потом под душ встала мать. А Рахшанда, сев на край мраморного ложа, раздвинула ноги, поставила его между коленями и, приказав, чтобы он крепко зажмурился, несколько раз намылила голову.

Каждый раз, намыливая голову, Рахшанда спрашивала, не очень ли горячая вода, и он каждый раз замирающим голосом отвечал, что нет, и она смывала пену с головы теплой ласковой водой и проводила вслед за водой рукой по лицу и, еще раз обмакнув руку в таз с чистой водой, по глазам.

Было очень приятно стоять между ее ногами и упираться лицом в ее живот под маленькими упругими грудями с розовыми сосками. Когда она сильной рукой натирала ему спину, сладкая истома охватывала его маленькое тело, и он с трудом удерживался от того, чтобы не взять в рот нежный сосок ее груди, скользящий у него то по шее, то по лбу.

А может быть, это желание пришло потом, много лет спустя, но ему казалось все время, что ему этого хотелось тогда. Незъяснимое волнение охватывало его каждый раз, когда его

купала Рахшанда, и ощущение этого волнения осталось с ним на всю жизнь. И на всю жизнь он запомнил ее совершенное упругое тело с белоснежной тонкой кожей, с сильными бедрами, между которыми он помещался почти целиком. Сохранились в памяти его тела ее округлые колени, на всю жизнь запомнила его кожа, в каких местах касались ее колени Рахшанды.

А потом мать перестала брать его в баню. Купала его дома в ванной.

В баню раз в неделю она уходила без него, с соседкой. Он просил мать, даже плакал несколько раз, но ничего не помогало, мать была непреклонна.

— Ты уже большой мальчик, — сказала мать, — будешь теперь ходить в баню с отцом.

Став постарше, он несколько раз забирался на крышу бани и не отрываясь смотрел в крохотное открытое окошечко над общим женским отделением.

В теплом белом пару ходили голые женщины, переговаривались и смеялись, и все это, сливаясь, доносилось до Джалила каким-то волнующим и странным гулом. Каждый раз ему казалось, что он видит среди этих неправдоподобных прекрасных женских фигур Рахшанду, он был уверен, что видит ее, и каждый раз сердце его сжимала сладостная грусть, а ведь с такой высоты узнать ее в пару, среди потоков льющейся воды, при неярком свете стосвечовых ламп было невозможно, и он, со временем приглядевшись к какой-нибудь из женщин, чем-то напоминающей ему Рахшанду, не спускал с нее весь вечер глаз, а воображение, которое было у него, очевидно, сильно развитое, позволяло ему вставить между ее коленями и, прижавшись к ее телу, явственно ощущать, как сбегает по коже ласковая вода. И снова необъяснимое чувство восторга и томления охватывало его.

В один из вечеров он сидел на куполе и, прижавшись к окошку, из которого поднимался поток влажного тепла, запах духов и хны, запах тела Рахшанды, искал ее глазами, или, точнее, ту, что должна была быть ею в этот вечер.

До блаженного ощущения мнимой реальности оставались мгновения, он заглядывал в баню, перегнувшись через окно всем туловищем. Теперь он уже знал, что он невидим для смотрящих снизу, сладкое томление начало обволакивать его тело, и вдруг он почувствовал, как кто-то резко и жестко схватил его за плечо.

Никогда в жизни не испытал Джалил больше такого страха, от которого онемело и сделалось в нем неподвижным все. Руки оторвали его тело от Рахшанды, развернули спиной к окну. Перед ним стоял банщик Акиф, здоровый парень, славящийся на всю улицу невероятной силой и считающийся непререкаемым авторитетом в разрешении спорных вопросов уличного кодекса чести и этики.

Он был взбешен, его красивое тонкое лицо походило на морду какого-то хищного зверя из породы кошачьих, и Джалил почувствовал первобытный ужас, который, наверное, может испытать беззащитный человек, неожиданно встретившись лицом к лицу с диким зверем.

— Ты представь себе, — Акиф говорил с трудом, — ты только представь себе, что там, в бане, твоя мать купается, сестра или жена, а какой-то ублюдок-молокосос подглядывает в окно. Никогда еще на этой улице такого не было. Хотя говорить с тобой бесполезно: что

такой, как ты, может понять? Слушай, я тебя прошу — уходи, а то мне очень хочется тебе глотку перервать.

Джалил никак не мог потом вспомнить — потерял ли он в этот момент сознание или ему показалось. Он только точно помнил, как Акиф помог ему спуститься с крыши, потом долго сидел с ним на скамеечке перед воротами и говорил с ним добрым голосом, обняв за плечи.

Акиф сказал тогда: то, что сделал Джалил, это позор для мужчины, и если об этом узнают, то Джалил навеки лишится доброго имени и каждый на улице будет вправе в будущем задеть его мать или сестру или спустя много лет жену или дочь, потому что такие позорные поступки никогда не забываются.

Акиф сказал, что он прощает Джалила, потому что Джалил просто не понимал, что он делает, и, как Акиф чувствует, Джалил искренне раскаивается.

Акиф обещал никому не рассказывать и сдержал свое слово.

Потом Акиф спросил его о самочувствии и, несмотря на то, что Джалил сказал, что все в порядке — а у Джалила кружилась голова, и он с трудом передвигал ноги, — проводил его до самых дверей.

В этот день он в последний раз видел свою Рахшанду.

Через год Акиф женился на Рахшанде, она родила ему троих детей, а потом, когда началась война, Акифа взяли на фронт, и через два месяца Рахшанда получила похоронную. Рахшанда вышла второй раз замуж спустя три года — за кривого заведующего керосиновой лавкой. Чем он ее пленил, осталось загадкой для всего района, но жили они дружно, и к детям Рахшанды от Акифа он относился как к своим, никакой разницы не делал.

Джалил муаллим женился только после войны, раньше он не мог: погиб отец, и семья осталась у него на руках. Сосватали ему дальнюю родственницу — говорили про нее, что она хозяйственная и с образованием, окончила музыкальное училище. Была она довольно-таки миловидна, но чрезмерно худа и роста была одного с Джалил муаллимом, а может быть, даже чуточку выше. До свадьбы они повидались всего два раза. В первую ночь, когда их оставили одних в бывшей спальне родителей, она не проронила ни единого слова, а все время испуганно поглядывала на Джалил муаллима.

Он строгим голосом сказал, чтобы она разделась. Она мотнула головой. Тогда Джалил муаллим понял, что это надо сделать ему. С женщиной наедине он оставался впервые и никогда не предполагал, что раздеть ее — такое сложное дело. Она просила испуганным шепотом, со слезами на глазах, чтобы он оставил на ней хотя бы рубашку, но он был неумолим. Когда она попыталась укрыться одеялом, он не позволил и этого, теперь она лежала совершенно голая, закрыв лицо руками, и тихо всхлипывала.

Джалил муаллим смотрел на нее при мягком свете ночника и испытывал ощущение, похожее на растерянность и стыд. Он потушил ночник и лег рядом с нею, прижался к ней всем телом и, положив левую руку ей под голову, правой стал гладить грудь. Она перестала всхлипывать и затаила дыхание.

Он несколько раз поцеловал ее мягкие покорные губы и снова не испытал при этом ничего даже отдаленно похожего на любовную страсть молодожена. Он почувствовал, коснувшись лицом прохладной наволочки, как горят его щеки, ему было стыдно за свое бессилие, и он подумал, что жена никогда не будет его уважать, а это просто ужасно, ведь всегда очень неприятно, когда тебя кто-то не уважает, ну а уж если единственная жена тебя не уважает, причем совершенно справедливо, за то, что ты не можешь сделать свое мужское дело, то выход один — или застрелиться, или повеситься.

Он в отчаянии закрыл глаза и слегка отодвинулся от нее. Он подумал, что, может быть, он и не так уж виноват, может быть, если бы на месте этой женщины, абсолютно ему ненужной, лежала бы та — Рахшанда, то, возможно, все было бы по-другому. И вдруг нахлынуло. Он это почувствовал сразу, вернулось то состояние, которое много-много лет назад прервал Акиф на крыше бани. Он не мог поверить, он боялся, что все вдруг исчезнет, несколько минут лежал неподвижно, а потом осторожно протянул сразу ставшую горячей руку и дотронулся до Рахшанды — она лежала рядом, красивая, изнемогающая от желания. Он дотронулся до ее груди, погладил ложбинку между грудями, почувствовал, как они покорно легли и уместились, каждая по очереди, целиком в его ладони, и он ощутил, как бьется под тонкой кожей ее сердце, провел раскрытой ладонью сверху по горячей гладкой коже живота, погладил кончиками пальцев жесткие завитки в самом его низу, и под его рукой нежно и медленно раскрылись тесно прижатые друг к другу бедра. Он взял в рот розовый сосок ее груди и только теперь, после стольких лет ожидания, познал его вкус.

В эту ночь, свою первую в жизни ночь с женщиной, он брал Рахшанду несколько раз, брал молча, не уставая, ни разу не раскрыв глаз. Брал каждый раз по-другому, то слушая ее шепот, полный нежности и любви, то жадно прислушиваясь к стонам ее, уставшей от его грубых ласк. Потом он открыл глаза и с недоумением услышал, как жена плачет, умоляет его остановиться, потому что она устала и ей очень больно.

Он не сразу мог понять, чего от него хочет эта незнакомая женщина и что она здесь делает рядом с ним, когда это место принадлежит Рахшанде, и только ей одной!..

И это была последняя ночь с Рахшандой, чуда больше не получалось, он жил с женой нормальной, далеко не страстной супружеской жизнью, но ни разу после той ночи не удавалось ему почувствовать рядом Рахшанду, хотя ни разу он не отказался от попытки вернуть чудо, приходя один или два раза в неделю в спальню к жене... А потом, побыв с женой час или полтора, уходил спать к себе в комнату. И. никогда больше не получил он подлинного удовлетворения от того, что регулярно происходило у него с женой. Было это жалкой имитацией, каждый раз смутно унижающей его, низводившей его до уровня животного в периоды случки, грязной подделкой, по сравнению с тем чудом божественного наслаждения, что испытал и тщетно пытался вернуть или повторить он, согласный заплатить за это самую дорогую цену, какую только может заплатить при жизни человек.

У них родилась дочь, и жена много лет спустя, всмотревшись в лицо дочери, склонившейся над тетрадь, изумленно сказала:

— А ведь и верно похожа! Слушай, Джалил, только ты не думай, что я совсем дура, но дочка наша удивительно на Рахшанду похожа, на директоршу бани. Удивительное сходство.

Первая Таира ханум заметила, говорит: дочка твоя на Рахшанду похожа, просто копия. Она, оказывается, Рахшанду в молодости хорошо знала. Рахшанда сегодня фотокарточку принесла тех лет — мы все ахнули: моя дочь и только! Рахшанда, так та даже всплакнула. Ну ведь правда, дочка? Как будто ты на фотографии! Бывают же чудеса!

Дочка улыбнулась каким-то своим мыслям, и кивнула головой.

— Не может этого быть, — с удивлением, чувствуя, что смущается, и по этой причине раздражаясь, сказал Джалил муаллим. — Кажется вам. — Он взгляделся в лицо дочери и, не обнаружив в нем ни малейшего сходства с Рахшандой, сказал с уверенной улыбкой: — Показалось вам. От безделья это. И с какой стати наша дочь может быть похожа на Рахшанду?

— А если и похожа, ничего дурного в этом нет, прекрасный человек Рахшанда. Жалко, что ты ее, Джалил, плохо знаешь, душа у нее чудесная, до сих пор красавица, и всю жизнь очень порядочной женщиной была, ни один человек дурного слова о ней не скажет...

...В номере от мраморных стен и лежанок шел пар, видно, мыли их кипятком только что перед самым приходом Джалил муаллима.

Он разделся, аккуратно повесил на вешалку брюки и пиджак из чесучи, потом прошел во вторую комнату и встал под теплый душ. Минут через двадцать пять — тридцать, стуча сандалиями на деревянной подошве, пришел Гусейн. Он разделся в предбаннике и вошел в номер с тазом, в котором были сложены рукавица грубой шерстяной вязки для массажа, мочалка, мыло и флакон с шампунем. Пока Джалил муаллим мок под душем, подготавливая тело к массажу, Гусейн кипятком и мылом еще раз начисто вымыл и протер мраморное ложе в углу комнаты, надул резиновую подушку и положил ее в изголовье.

— Хватит, пожалуй, — сказал Гусейн, внимательно оглядев Джалил муаллима. — Иди ложись, а я, с божьей помощью, приступлю.

Джалил муаллим подошел к плите и лег животом на ее гладкую, теплую поверхность. Привычное чувство покоя снизошло на него. Не было больше другого такого места — нигде, кроме как в этой бане, не чувствовал он себя так хорошо и спокойно,

Гусейн цепкими, сильными кистями рук прошелся по всем суставам.

— Похудел ты, — вздохнул он. — Нервный ты очень, все от нервов идет.

Гусейн еще раз прошелся по суставам, прошелся медленней, чем в первый раз, подробно ощупывая каждый позвонок; покончив с ними, начал выкручивать пальцы, руки, стопы ног, причиняя им сладостную ноющую боль, выкручивая так, что смачно хрустело в сочлененьях; казалось, что тело разбирают на части, разбирают, и каждую часть окунают в какой-то чудодейственный живительный состав, придающий немедленно бодрость и свежесть. И вот тело собрано снова, и стало оно легче, здоровее и моложе.

Гусейн массировал шею, с остервенением хватал за еле заметные складки на затылке, казалось, что вот-вот отдерет он мышцы от костей, мелкой дробью рассыпался пальцами за ушами, влезал пальцами под подбородок, так, что еще секунда, еще миллиметр — и оторвет напрочь челюсть, потом длинными тягучими пассами прогладил плечи и шею.

Мышцы перекачивались у него под тонкой кожей. Джалил муаллим подумал про себя, что и Гусейн постарел за эти годы, и массаж делает хоть и хорошо, ни с кем в городе сравнить нельзя, но все же не так, как раньше, без прежнего рвения, силы уже не те...

— Я сейчас вспомнил, — со вздохом сказал Гусейн, — как я в былые времена ногами тебя массировал. Помнишь? Теперь, пожалуй, не выдержишь.

Бывало, Гусейн, войдя в раж, посередине массажа вскакивал ему с размаху на спину голыми коленками, вспомнил Джалил муаллим и удивился: «Как это я выдерживал?» Видно, не только Гусейн стареть начал.

Гусейн принял душ и подступил к Джалил муаллиму с рукавицей. Во время массажа с рукавицей Гусейн никогда не разговаривал, дело это тонкое, требующее особенного внимания. Только с наиболее уважаемыми клиентами, каким являлся Джалил муаллим, позволял себе Гусейн перекинуться двумя-тремя фразами. А настоящую беседу, опять же с наиболее достойными посетителями, вел он во время мыльного мытья. Мог Гусейн поддерживать беседу с любым понимающим человеком, свободно говорил на тему поэзии, старинным поклонником и знатоком которой издавна считался, не гнушался бесед и на душевнеспасительные темы, имел твердое мнение по любому вопросу морали и этики, разбирался во всех тонкостях внутренней и внешней политики, а также был осведомлен и о тайных пружинах, при помощи которых сильные мира сего совершают крупные дела.

Он кончил читать второй бейт и сказал, чтобы Джалил муаллим перевернулся на спину. Голос у него был приятный, читал он стихи нараспев, с выражением и чувством.

— Спасибо, — сказал Джалил муаллим, — спасибо, Гусейн, второй бейт меня расстроил, чуть не заплакал я. Первый бейт тоже прекрасный, но второй бейт — это жемчужина бесценная, это стих, в котором весь мир, как в одном зеркале, отражается. Физули — величайший из поэтов!

— Эх! — сокрушенно сказал Гусейн. — Кого я могу из сегодняшних поэтов с ним рядом поставить?! Никого. Я ничего не говорю, хорошие поэты изредка попадаются — великих нет...

Купанье вступило в завершающую фазу, Гусейн намылил ему голову.

— Слушай, — сказал Гусейн. — Вчера один парень сюда приходил, из Москвы в Баку приехал, за него Джумшуд просил, говорит, друг мой этот москвич, ты сделай ему уважение ради меня, покажи, что такое настоящая бакинская баня. Так вот этот парень рассказывал, что был он недавно в Финляндии и Швеции, говорит: там бани деревянные, с парной. Люди купаются, потом парятся, ну, в общем, как у нас в молоканской бане, только там деревянная, а у нас каменная, а дальше совсем по-другому: все выбегают из парной прямо на снег и бросаются в ледяную воду. Слышишь? Парень такой серьезный — на вруна не похож. Опять же Джумшуд за него поручился. Говорит, сам купался, сам бросался. Что ты об этом думаешь?

— Что я об этом могу думать? Мало ли сумасшедших на свете? А может, и врет, в конце концов, кто такой Джумшуд, всего десять лет назад приехал в Баку из Асамана, а я еще ни одного асаманца приличного человека не знаю. Так что и друзья у него — представляю какие. ...А может, и правда.

— Правда, правда, — сказал Гусейн, — я всегда чувствую, правду человек говорит или нет. А еще такое этот парень рассказал! — Гусейн тихо хихикнул. — Я со вчерашнего дня никому это пересказать не могу. Стыдно. Я этому парню говорю: скажи честно — пошутил? Несколько раз я у него спросил, последний раз, когда он уже совсем оделся, уходил. А он мне все время отвечал «честное слово», «правда» и еще клялся. Так и ушел. Удивительное дело.

— Что же он тебе рассказал?

— Не проси, Джалил, не скажу. Ты же знаешь, я в бога верю.

— Мне-то ты сказать можешь, ты же знаешь, дальше меня это никуда не пойдет.

Гусейн в молчании намылил в третий раз голову Джалил муаллиму.

— Ну, — сказал Джалил муаллим.

— Знаешь, что он сказал? — наконец решившись, выпалил Гусейн. — Говорит, что там мужчины и женщины купаются все вместе! В одной бане, в одной комнате, все голые, все друг другу спину трут. Все!

Джалил муаллим чуть не захлебнулся, когда Гусейн водой из кувшина стал смывать с его головы пену.

— Бессовестные, — отдышавшись, сказал Джалил муаллим. Он был искренне возмущен. — До чего бесстыдство у людей доходит. Таких убивать надо, чтобы другие, помоложе, примера с них не брали. — Заговорив о бесстыдстве, Джалил муаллим вспомнил о брате и расстроился окончательно. — Тьфу! Нет предела бесстыдству людей!

— Я о другом думаю, — сурово сказал Гусейн, — я думаю, куда их правительство смотрит. Что из их детей получится? Их же всех в тюрьму посадить надо. Только проследить, чтобы мужчин отдельно посадили, женщин отдельно. Ты как думаешь, Джалил?

— Горбатого могила исправит. Ты думаешь, им тюрьма поможет? Я точно знаю, таким ничего не поможет. Если у человека совести нет, ему никто и ничего в жизни не поможет. Ты мне поверь! — Он уже и не рад был, что вспомнил о брате, все удовольствие от бани пропало, и даже в висках застучало. И сказать никому нельзя ничего, не станешь ведь о родном брате посторонним людям рассказывать. Позор! А не расскажешь, сердце однажды не выдержит, разорвется на мелкие кусочки. Черная кровь изо рта хлынет, если все время молчать, муку такую в себе носить.

Чайхана была здесь же, во дворе бани. Несмотря на ранний час, почти за всеми столами сидели, а за одним уже играли в нарды. Джалил муаллим прошел к дальнему столу, у самой стены, по пути коротко кивнув чайханщику. Азиз, сын покойного Мамедали, основавшего в свое время эту чайхану, подошел к нему, почтительно поздоровался, проворно протер мокрой тряпкой без того чистую поверхность дубового стола, потемневшую от времени и чая, и поставил перед ним чайник и два стакана с блюдцами, один для Джалил муаллима, второй — на тот случай, если Джалил муаллим пригласит кого-нибудь подсесть, что он делал очень часто.

Он налил себе стакан крепкого, с красноватым оттенком чая и подумал, что, уходя, надо будет при посетителях поблагодарить Азиза за сегодняшний чай. В прошлое воскресенье чай был явно передержан при заварке на огне, и Джалил муаллим ушел не совсем довольным.

А сегодня чай был превосходным. Как всегда, первый стакан он выпил быстро, предварительно слегка остудив его в блюдце, и сразу же ощутил его действие, как будто чай растворил тонкую туманную пелену в голове, между теменной костью и мозгом. И теперь свободно врывались в сознание и казались приятными воспоминания, располагающие к размышлениям под мерный клекот котлов и шелест виноградных листьев над головой. Джалил муаллим не торопясь пил второй стакан чая. Холодил лоб остывший пот. Новые посетители, а приходили в основном соседи и знакомые, непременно здоровались с ним, а он, так же, как и полчаса назад в бане, испытывал удовлетворение от жизни, ощущал ее полноту и приятную стабильность и то, что в этой жизни человек он нужный и заметный.

Потом за дальним столом, где играли в нарды, начался спор, и игроки, игнорируя советы соседей, подошли к Джалил муаллиму и, непрерывно извиняясь за причиненное беспокойство, попросили его глянуть на доску. Он не торопясь подошел к нардам, мгновенно разрешил спор и рассказал об аналогичном случае, происшедшем с ним в этой же самой чайхане еще при покойном Мамедали. Все с интересом слушали, игроки безропотно согласились с его решением, и это было очень приятно, так же как и то, что из всех сидящих в чайхане, а большинство считалось опытными нардистами, для разрешения спора сразу, не договариваясь, игроки избрали его. Игра закончилась, и победитель пригласил Джалил муаллима занять место за нардами, но он отказался. Играть в чайхане он перестал, узнав, что с некоторых пор здесь поигрывают и на деньги, чего раньше не было. В нарды играл он только в гостях или дома, и партнерами его были только солидные и достойные люди. С ними он позволял себе изредка сыграть и «на интерес» — на мандарины или, например, на дыни, ну, в крайнем случае на лотерейные билеты, каждая партия — три билета. На деньги же он не играл никогда.

Он вернулся за свой стол, совсем было собрался уйти, но, вдруг раздумав, налил еще стакан чая из нового чайника. Из чайханы он всякий раз уходил с сожалением.

Он допивал первый стакан из второго чайника, когда пришел шофер Кямал, которого за глаза все называли Длинноухим Кямалом, в отличие от другого Кямала, который работал электромонтером и прозвища не имел. Назвали его так еще в юности за постоянную привычку сквернословить. Впрочем, в юности его авали просто Ишак-Кямалом, а более пристойно, Длинноухим, стали называть позже — из уважения к значительно изменившемуся с тех пор возрасту; и называли его так, если заходила о нем речь, не стесняясь, в присутствия его жены и детей.

Близкие друзья называли его Длинноухим и в лицо, за что он каждый раз беззлобно ругал их самыми непотребными ругательствами.

В присутствии Джалил муаллима Длинноухий Кямал не позволял себе ничего лишнего, но все равно стало неприятно, когда Кямал, предварительно испросив разрешения, сел напротив него. Пришлось налить ему чай. Кямал, заняв локтями полстола, сопя и шумно

чмокая, пил чай и громко говорил о том, что лето прекрасная пора, но имеет тот крупный недостаток, что летом нигде нельзя съесть хаша. Джалил муаллим же думал о том, что было бы здорово, если бы он ушел, как собирался, чуть раньше, до прихода Кямала, а теперь у некоторой части присутствующих может создаться впечатление, что Джалил муаллим беседует с Кямалом или, не дай бог, пришел в чайхану вместе с ним. Уйти же теперь было неприлично.

— Зато в прошлое воскресенье мы надрались славненько, — сказал Кямал. — В подвале у Рзы. Рза так и сказал: «Ребята, это последний хаш, следующий будет через шесть месяцев», — ну, тут мы налегли! Все съели по две тарелки, и, клянусь честью, пусть глаза мои ослепнут, каждый выпил по литру водки. И какой водки! Настоящей тутовки, из Загатал мне привезли — поджигашь, горит синим пламенем! Такую водку...

— Это вредно, — прервал его Джалил муаллим, заметивший, что за соседними столами с интересом прислушиваются к глупой и неприличной болтовне Кямала.

— Кому вредно? — удивился Кямал.

— Здоровью вредно, — сказал Джалил муаллим, ожидая какой-нибудь мало-мальски подходящей фразы Кямала, которую можно было бы, не нарушая приличий, использовать в целях завершения неприятного разговора. Он готов был ухватиться за любую, самую формальную зацепку, для того чтобы попрощаться и уйти, не обидев Кямала, человека, конечно же, не достойного уважения, но в данный момент сидящего за его столом и по этой причине законно претендующего на соответствующее обхождение.

— Не вредно, не вредно, — успокоил его Кямал, — вредно, когда нашу бакинскую водку пьешь. Черт его знает, из чего ее делают: кто говорит — из гнилой картошки, кто — из нефти. А эта водка не водка была, а чудо! — как роса прозрачная, цветами пахнет, жаль только, кончилась. Выпили мы по литру, а еще хочется. А сидели мы втроем — я, монтинский Фируз и твой брат Симург. Фируз после второй бутылки, клянусь честью, так дошел, что пришлось его у Рзы уложить. Я тоже, честно говоря, опьянел, а вот Симург... Я тебе говорю не потому, что он твой брат, ты же знаешь: я и плохое и хорошее не стесняюсь говорить — если бы о нем плохо думал, я бы тебе прямо в лицо это выложил. Но я хочу одно сказать: Симург — удивительный человек, не человек, а лев! Как богатырь пьет! Пьет — не пьянеет и разума не теряет. Я за Симурга душу отдам. Это такой парень, такой парень... Знаешь, я теперь, когда хочу поклясться самой страшной клятвой, — его именем клянусь, его и своими детьми. Самый мой лучший друг.

Джалил муаллим сидел напротив Длинноухого Кямала, время от времени без всякого удовольствия отхлебывал чай и уже не обращал внимания на окружающих, чувствуя, что безвозвратно испорчено все удовольствие и от купания, и от чаепития.

Кямал, конечно же, ни в чем не виноват, думал Джалил муаллим, на то он и есть Длинноухий, но с какой стати его родной брат должен водиться с Кямалом, дружить с ним и совместно пьянствовать, и с какой стати Джалил муаллим должен все это выслушивать в присутствии посторонних людей, среди которых наряду с доброжелателями, несомненно, есть и такие, которые искренне радуются его позору. Потом он вспомнил, что брат уже много раз давал возможность позлорадствовать соседям; и снова наступило состояние напряжения и тяжелых мыслей, и он знал, что не удастся выйти из него весь этот день.

Джалил муаллим, машинально наливая себе и Кямалу чай, усмехнулся, когда тот стал рассказывать о том, как, напившись до беспамятства, они с Симургом пошли в городской сад кататься на карусели. Обменялся рукопожатиями со знакомыми, специально подошедшими для этого к столу, вытащил из варенья попавшую в него пчелу, подумав при этом, что пчела эта, конечно, с одного из двух ульев, и пожалел, что она погибла. И все, что он слушал и наблюдал теперь, снова стало тусклым и невнятным и мелькало мимо сознания, не задерживаясь и не оставляя следа.

Поддерживал он, не вникая в смысл, никчемный разговор, а сам тем временем вспоминал иное, в котором не было места ни для Длинноухого Кямала, ни для всего, что происходило с недавних пор. Отчетливо всплыли вдруг в памяти те дни, когда после смерти отца все заботы о семье — матери и двух младших братьях, Симурге и Таире, в тяжелое военное время легли на плечи Джалила. У матери никакого образования не было, устроилась она работать в микробиологический институт лаборанткой, так они сказали соседям, а на самом деле работала она там уборщицей, убирала и мыла клетки, в которых содержались кролики и собаки. Зарплата была мизерная, но зато время от времени работникам института выдавали по полтушки кролика, использованного в научных целях, а после умерщвления признанного безвредным для употребления в пищу. Тогда и пришлось Джалил муаллиму бросить учебу. С утра продавал он на привокзальной площади газеты, потом разносил письма и газеты по домам, во второй половине дня отправлялся на другой конец города, на Будаговский базар, и продавал там поштучно папиросы, сахар, ириски — все, что удавалось получить у дальнего родственника, директора магазина, по доброте душевной жалевшего оставшуюся без кормильца семью. Исхудавший и вечно голодный, загоревший дочерна на немилосердном бакинском солнце, Джалил только и мечтал о том, как он станет старше и сумеет заработать столько, что освободит от тяжелой работы мать, даст образование младшим братьям и оплатит добром дальнему родственнику завмагу. И все это благополучно исполнилось бы, если бы в самом конце войны не умер младший, Таир. Недолго болел. Не выдержало тельце, изнуренное недоеданием, новой напасти — скарлатины. Убивалась по нему мать страшно, долго болела, начала кашлять, так и не оправилась до конца после смерти сына. Это была первая смерть родного человека, которую видел Джалил, и еще долго после этого он остро ощущал жуть невозвратимости. Отец погиб вдали, на фронте, и как-то не верилось до смерти брата в то, что этого здорового, веселого человека нет в живых. А после смерти брата поверилось.

С окончанием войны дела пошли лучше — Джалил еще некоторое время поработал почтальоном, потом наградили его медалью «За оборону Кавказа» — отметили так безупречную работу на почте, а спустя два года, когда ушел на пенсию старый директор, стал Джалил директором почты. И не заметил, как молодость прошла, и не жалел об этом: того, чего добился, не отдал бы за все прежние годы. Брат Симург учился, хуже учился, чем хотелось бы Джалил муаллиму, но учился как и полагается мальчику из нормальной семьи. Одевал и обувал брата и мать вполне пристойно, образ жизни вел в высшей степени добропорядочный, кроме работы и дома, других дел не знал. К обязанностям своим относился очень серьезно, и начальство его ценило, работа вверенного ему почтового отделения неоднократно отмечалась грамотами, а работники почты, и он в их числе,

поощрялись денежными премиями и ценными подарками. Пристрастился он и к своему небольшому хозяйству.

Превратил постепенно двор своего дома из обыкновенного бакинского двора, покрытого тусклым асфальтом, в цветущий сад с огородом и с небольшим загоном, в котором важно прогуливались несколько индеек и цесарок.

Брата тоже стал приучать к любимому делу, учил, как прививки делать деревьям, лозу обрезать. Брат делал все играючи, весело и этим отличался от серьезного, вдумчивого Джалила. После занятий в школе брат с товарищами по классу отправлялся с плетеной корзиной собирать навоз на улицах. Этим навозом Симург а Джалил удобряли сад. Первое время брат стеснялся ходить по улицам и собирать навоз, это до того, как Джалил муаллим, что-то приметив однажды, спокойно объяснил ему, что зазорного в этом ничего нет, и в подтверждение своих слов сам отправился в воскресенье с Симургом и его приятелями на Кубинское шоссе, по которому в то бедное автотранспортом время часто проезжали военные повозки, пассажирские фаэтоны, крестьянские арбы, оставляя в изобилии на асфальте наглядные и очевидные экспонаты — позволяющие практичному и мудрому человеку, собравшему их в самом свежем виде в плетеную корзину и удобрившему ими землю в своем саду, принять непосредственное участие в ускорении таинственного и вечного процесса превращения одного вида материи в другой, иначе именуемого круговращением в природе.

Джалил муаллим считался на улице человеком очень эрудированным, хотя из всех книг, составляющих величественнейшее здание, именуемое мировой литературой, — все этажи и комнаты которого не удалось обойти за целую жизнь еще ни одному человеку, когда-либо живущему на земле, — он получил самую скромную долю: прочитав одну книгу, прочитав с удовольствием, — сборник азербайджанских сказок.

Эту единственную в своей жизни книгу перечитывал он каждые полтора-два года. В одних сказках его привлекал интереснейший сюжет, в других умиляли до слез злоключения влюбленных, преодолевающих на пути к соединению подлые козни и хитросплетения, устраивавшиеся злыми людьми и волшебниками. Не стеснялся смеяться вслух, когда на него оказывал действие богатый и многообразный юмор, покрывался краской и чувственно волновался при чтении мест, описывающих довольно однообразные и незамысловатые любовные утехи соединившихся влюбленных, предающихся обычно любви в каком-нибудь дворце или райском саду у бассейна с золотыми рыбками. А самое главное, поражала его эта книга своей мудростью и четкой прекрасной моралью, по которой непременно наказывалось в конце концов зло в любом его проявлении. А люди честные, трудолюбивые, искренние и добрые по отношению к родным и друзьям, всегда щедро вознаграждались в делах и в любви, получали заслуженную оценку народа или справедливых правителей и занимали место на самых высших ступенях общественной и государственной лестницы, оставаясь и здесь скромными и порядочными.

Джалил муаллим объяснил Симургу в простых, доступных выражениях, как сам понимал, что навоз — вещь абсолютно необходимая для роста деревьев и других растений и что, собирая навоз, Симург и его товарищи делают полезное и нужное дело, а на тех, кто их дразнит, не понимая, что любой труд почетен, внимание обращать не стоит, потому что

они, позволяющие себе дразнить Симурга и его товарищей, люди недостойные и даже, можно сказать, конченные и спасти их может только немедленное и полное раскаяние.

В этот период своей жизни Джалил муаллим был абсолютно счастливым человеком. Немного беспокоило его здоровье матери, так и не восстановившееся после тяжелых утрат военных лет. Стала она чрезвычайно набожной и ежедневно молилась за здоровье сыновей. Джалила она обожала, чрезмерно гордилась им, дожидаться не могла прихода его с работы. В отсутствие его говорила только о нем, расхваливая на все лады, замолкая, лишь когда прерывал ее речь сухой отрывистый кашель. Говорила, что все у нее есть, но по-настоящему счастливой почувствует себя, когда женится Джалил и окончит школу сорвиголова Симург.

Дожила она и до полного счастья, сосватала Джалилу невесту из приличной семьи, пригожую и не бесприданницу. Одним словом, все как у людей. Лейла оказалась хорошей хозяйкой и женой, ну а по отношению к свекрови показала себя не просто хорошей невесткой, а дочкой, любящей и нежной, ухаживала за нею изо всех сил. Сперва, наверное, по расчету больше старалась, для того, чтобы выслужиться перед старухой, матерью двух любящих и почтительных сыновей. Что греха таить, был расчет первое время, да и Мариам ханум вначале только тем и занималась, что зорко присматривалась к невестке: посмотрим, мол, из какого гнезда птичка. А потом обвыклись, полюбили искренне друг друга, что чрезвычайно редко бывает между свекровью и невесткой. И от души радовались, встречаясь каждое утро, а жили не то что по соседству, а в одном доме. Скучать друг без друга не скучали, потому что с тех пор, как пришла невестка в дом, ни разу они не расстались, ни на один день, вплоть до черного дня, когда ушла Мариам ханум навсегда, а до этого много времени еще пройдет.

И соседи семью Джалил муаллима в пример всем ставили. Стал Джалил муаллим одним из самых уважаемых людей на улице, даже прокурору Гасанову, живущему через квартал, пришлось потесниться, уступить Джалил муаллиму почетное место самого уважаемого в неофициальном, но постоянно проводившемся первенстве района.

И брат Симург его не огорчал, учиться стал лучше, даже в библиотеку начал ходить после школы, и Джалил муаллим поощрял его в этом, справедливо полагая, что от хождения в библиотеку вреда точно не будет.

Он чувствовал, что любит его брат и гордится им, и радовалось его сердце тому, что вырастает Симург в высокого пригожего парня, на которого давно уже, чуть ли не с седьмого класса, заглядываются девушки из соседних домов.

Зарабатывал Джалил муаллим в это время уже очень неплохо; по его понятиям, они жили прекрасно, на все хватало, и даже кое-что удавалось отложить. В конце каждой недели Джалил муаллим давал Симургу деньги на карманные расходы, давал непременно, когда Симург и не просил. Вспоминал Джалил муаллим, как тяжело жилось ему самому в возрасте Симурга, и старался, чтобы брату жилось повеселее, давал деньги и на кино, и на мороженое, давал столько, чтобы мог Симург кого-нибудь с собой взять, если захочет, чтобы не было безденежье помехой для приглашения, а говоря откровенно, давал ему деньги Джалил муаллим еще потому, что приятно ему было баловать братишку, которого любил он на самом высоком пределе своих душевных возможностей. Знал, что брат ходит

на танцплощадку в парке, и не осуждал его за это. Дело молодое, повзрослеет, сам поймет, что никчемное это занятие, а возможно, и безнравственное. По этому поводу Джалил муаллим брату ни разу слова не сказал, верил в то, что у Симурга кровь хорошая, отцовская, не позволит оступиться. Сам Джалил, до того как женился, ни с одной женщиной ни разу под руку не прошелся, да что под руку, наедине ни с одной не оставался.

А когда зачастил Симург поздно ночью возвращаться домой с гулянья, это уже летом было, сразу после окончания десятого класса, понял Джалил муаллим, что пора ему вмешаться, почти всю ночь не спал, зато услышал под утро шаги брата, встал проворно с постели и, как был, в ночном белье, пошел встречать его к воротам. А лицо у Симурга в то утро странное было, взгляд необычайный, глаза уставшие, но такие счастливые, как будто светом светили, а по лицу, по губам ярко-красным, отчего-то припухшим, улыбка блуждала необычная, до сих пор Джалилом на лице брата не виданная. И ворот рубахи у Симурга был расстегнут, оставляя открытой почти всю крепкую грудь.

Решил сперва Джалил муаллим, что пьяным явился домой Симург, прямо сердце екнуло от такой мысли, а потом разглядел на шее в двух местах темно-вишневые пятна, почувствовал еле уловимый запах духов и понял, что не пьяный Симург. И уже не знал, радоваться этому или нет. Долгим взглядом посмотрел Джалил муаллим на брата, только один раз посмотрел, но многое было в этом взгляде. Опустил Симург голову смущенно, и слова не промолвил, и пошел к постеленной с вечера для него матерью во дворе на помосте постели. После этого утра перестал Симург задерживаться допоздна, ни разу больше домой позже двенадцати не пришел. А Джалил муаллим о том утре ему ни единым словом не напомнил, так же каждый вечер работали они в саду, а закончив работу, садились играть в нарды и пили чай. Не было послушнее и лучше брата, чем у Джалил муаллима, ни у кого в районе, а вполне возможно, и во всем городе. И он был для Симурга и другом самым близким, и братом добрым старшим, и отцом щедрым и ласковым, потому что не было у Симурга друга ближе, второго брата не было, а отца Симург не помнил — два года ему исполнилось, когда отца призвали на фронт. Джалил муаллима по имени Симург называл очень редко, а на людях именовал брата уважительно, как и полагается называть брата, который старше тебя на двенадцать лет, — ага-дадашем.

Настроение у всех было хорошее, дела шли на лад, и счастлив был Джалил муаллим, полновластный и благородный хозяин дома, оставленного ему покойным отцом, в меру своих сил делавший все, чтобы поддержать доброе имя свое и своей семьи в глазах людей, с мнением которых Джалил муаллим считался с давних пор.

В то лето Симург поступал в медицинский институт. Экзамены сдал все до одного, ни на одном не срезался, да и отметки неплохие в общем получил. Не приняли. По конкурсу не прошел. Джалил муаллим и к ректору на прием ходил, и в министерство обращался — ничто не помогло. Вышел Джалил муаллим из здания министерства, посмотрел еще раз в экзаменационный лист, а там сплошь четверки, а тройка всего одна, и разодрал его в клочья. Подумать только, из-за двух баллов человека в институт не принять! Никак это в голове Джалил муаллима не укладывалось — с ума посходили все, что ли? Человек учился десять лет, мечтал врачом стать, не двоечник какой-нибудь, экзамены все сдал, а его не принимают. Из-за каких-то двух баллов.

Очень жалел Джалил муаллим, что не знаком с преподавателями, у которых не дрогнула рука, выставяющая Симургу заниженную оценку. Спросил бы он у них, кто им дал право так легкомысленно обращаться с человеческой судьбой. Ведь сразу видно, что Симург парень толковый, знающий, а если сразу не разглядел, кто стоит перед тобой, спроси его еще. Что значит билет, с горечью думал Джалил муаллим, бумажный билет с тремя вопросами? Спроси у человека, кто он, в какой семье воспитывался, легко ли без отца было расти, спроси все, а потом уже решай, какую отметку ставить. А если у тебя настроение плохое и разговаривать неохота, то не ходи экзамен принимать, погуляй немного по бульвару, развейся, от тебя же люди зависят.

Симург, перенесший неудачу гораздо легче, успокаивал его как мог, объяснял, что конкурс в этом году в медицинский был неслыханный, принимали в основном только тех, кто сдал на круглые пятерки; еще какую-то часть приняли из тех, кто сдал на четверки с одной или двумя пятерками, этих не на лечебный факультет, куда почти все подавали документы, как и Симург, а на санитарный или педиатрический. Долго объяснял, обещал весь год упорно заниматься и, сдав на круглые пятерки, во что бы то ни стало поступить на будущий год. Ничто не помогало, Джалил муаллим был безутешен. А через десять дней пришла повестка из военкомата, Симурга призвали. Ездил провожать его Джалил муаллим в Баладжары, изменив в первый раз своим обычным, очень сдержанным манерам, только и приличествующим, по его мнению, старшему брату, главе семьи.

Крепко обнял Симурга, поцеловал несколько раз и, что уж совсем стыдно и никуда не годится в присутствии младшего брата, прослезился, и все время, пока Симург, тоже плачущий, стоял с ним у вагона, никак не мог взять себя в руки и даже не дал парню на прощание никаких советов, могущих пригодиться ему на военной службе.

Уехал Симург, и как будто пусто стало в доме. Очень недоставало его. Письма получали от него часто, через день. Джалил муаллим отвечал ему аккуратно, относился к этому делу, как ко всему в жизни, серьезно и отвечал письмом на письмо, как бы ни был занят, обязательно в конце почти каждого письма спрашивал, не нужно ли Симургу денег или чего другого.

Письма Симург присылал интересные, описывал разные места, о которых Джалил муаллим знал только понаслышке.

Сперва приходили письма с Украины, вкладывал в конверты Симург разноцветные открытки с видами Львова, Черновиц и других городов. Писал Симург, что окончил здесь, в армии, автошколу и служит в части, о которой ему писать, как военному человеку, не положено. А когда наградили Симурга значком «Отличник боевой и политической подготовки», Джалил муаллим устроил угощение, на которое пригласил друзей и родственников и, как всегда, дальнего родственника — завмага, к которому относился помнящий добро Джалил муаллим со времен войны с неизменным вниманием и подчеркнутым уважением. Потом письма стали приходиться из-за границы гораздо реже, чем первое время. Джалил муаллим не обижался, понимал, что служить в армии не шутка и на писание писем времени совсем не остается. Сам он писал регулярно, рассказывал обо всех происшествиях дома и всех новостях на работе и улице. Регулярно, каждый месяц, он откладывал в сберкассе, что за углом, на имя Симурга по десять, а иногда и пятнадцать рублей — помнил Джалил муаллим, что кроме него Симургу в жизни опереться не на кого. А первое время

после армии деньги очень ему понадобятся, особенно если в институт пойдет учиться или – дело молодое — вдруг жениться надумает. Столько же откладывал каждый месяц Джалил муаллим и на свою сберкнижку — семейный человек должен думать и о будущем, о детях своих. К этому времени детей у него было уже двое, сын родился в отсутствие Симурга, на второй год его службы. Детей Джалил муаллим не баловал; для их же пользы обращался с ними сурово, так как понимал, что из балованных детей толк редко получается. Конечно, он их любил и всем сердцем переживал, если дочка заболела или маленький, но не шла эта любовь ни в какое сравнение с той, которую испытывал Джалил муаллим к Симургу. И мать и жена не осуждали его, так как знали, что вырастил он Симурга и беспокоился за него, когда сам еще в отцовской тени нуждался, и что стал через это Симург для него вроде сына-первенца, самого любимого для отца из всех детей.

Так и жили в ожидании Симурга. Неплохо жили. Не роскошествовали, Джалил муаллим был не из тех, кто трудовые деньги на ветер бросает, но и ни в чем нужном себе не отказывали, ни в одежде приличной, ни в еде. Гостей часто принимали, сами в гости ходили. А если Джалил муаллима с женой приглашали куда-нибудь на день рождения или свадьбу, никогда не скупились на подарок, соответствующий их имени и положению. А в последнее лето, перед приездом Симурга, решил Джалил муаллим неожиданно для себя выполнить одну свою давнишнюю мечту — съездить с семьей в Кисловодск.

Может быть, эту давно дремавшую мысль географического характера пробудили к активности и суете письма и открытки Симурга с описаниями и изображениями невиданных городов, а может быть, и нет. Кто его знает? И существовал ли когда-нибудь мудрец или ученый, могущий точно знать, вследствие каких таких дел приходят на ум человека необычные и не очень свойственные ему мысли, как, например, та, что пришла вдруг в голову Джалил муаллима? И матери хотел он этим приятное сделать на старости лет. Хранились бережно дома немногочисленные фотографии покойного отца Байрамбека, заслуженного бригадира-нефтяника, а на одной из них были запечатлены отец и мать очень молодыми, в непривычных глазу довоенных костюмах, стоящие вдвоем на скалах, из-под которых широкой и плоской струей лилась, судя по прозрачности, родниковая вода. В самом низу фотографии, на темных скалах было написано: «Стеклянная струя. Кисловодск». Мать много раз рассказывала, он уже все наизусть знал, о том, как свой медовый месяц они с отцом провели в Кисловодске, что лучше Кисловодска нет места на земле. Навсегда она его запомнила, много раз подробно описывала дом с фруктовым садом, в котором они жили тогда, и даже название улицы запомнила, диковинное название — Ребровая балка. И каждый раз, рассказывая обо всем этом, оживлялась и становилась как будто моложе. И каждый раз вздыхала, что Джалил муаллиму так и не удалось пожить в таком прекрасном месте, как Кисловодск, очевидно, по наивности или рассеянности упуская из виду, что Кисловодск далеко не единственный город в мире и даже в Советском Союзе, где Джалил муаллиму не довелось пожить и ознакомиться с достопримечательностями. Он нигде еще не бывал — как родился, так и прожил всю жизнь в Баку.

Поездка, в результате которой исполнялось давнишнее его желание побывать в Кисловодске, дающая возможность расширить кругозор жены и детей, позволяла также Джалил муаллиму, нежному и почтительному сыну, сделать приятный сюрприз матери,

уже вступившей в тот грустный для близких период жизни, когда она может оборваться ежеминутно и в который так важно не опоздать с реализацией благих намерений.

Более того, поразмыслив, Джалил муаллим пришел к выводу, что выезд на курорт — событие для улицы примечательное и редкое — подтвердит в мнении соседей его репутацию преуспевающего и солидного человека с широкими запросами, выделяющими его из среды обывателей. О своем решении вывезти семью на курорт он написал брату, выражая сожаление, что поедут они без Симурга. В конце письма Джалил муаллим указал точный срок, с учетом времени, потребного на дорогу туда и обратно, в какой Симургу следует направлять корреспонденцию на кисловодский почтамт до востребования. Джалил муаллим с надеждой думал о том, что сообщение о поездке произведет на Симурга и на детей хорошее воспитательное действие, наглядно показав, во-первых, каких возможностей может добиться в жизни человек, добросовестно посвятивший себя полезной трудовой деятельности, во-вторых, останется в их памяти как еще один пример заботливости и доброты, проявляемых по отношению к ним начисто лишенным эгоизма главой семьи, каким является Джалил муаллим.

Как всегда, думая о себе и своих близких, Джалил муаллим растрогался и, как всегда, решил быть еще более добрым по отношению к ним, ко всем — к брату, жене и детям, быть великодушным, то есть прощать проступки, совершаемые по недомыслию, и во взаимоотношениях с ними действовать методом убеждений и примеров, обходиться без приказов и категорических указаний, на что он, впрочем, без всяких сомнений имеет полное право, как хозяин дома, их старший, и в конце концов, как человек, которому они обязаны своим существованием и всем лучшим, что у них есть сейчас и еще будет в будущем.

Обстоятельно посоветовавшись в чайхане с Ага-Самедом, человеком бывалым, до выхода на пенсию длительное время скитавшимся в качестве экспедитора и товароведа по всему Союзу, Джалил муаллим купил билеты на поезд заранее, за десять дней, в жесткий купированный вагон. Ага-Самед сказал, что езда в мягком вагоне в летнее время — самое последнее дело, бывает в них очень жарко, и он точно припоминает, и это еще не самое худшее, как в его последней летней поездке, перед самой войной, из Тбилиси в Баку, он ночью не мог сомкнуть глаз в мягком купе из-за клопов.

Решили, что в общем плацкартном вагоне Джалил муаллиму ехать не подобает. Так и остановились на жестком купированном вагоне, правда, Ага-Самед в нем никогда не ездил — до войны таких вагонов еще не было, но Ага-Самед сказал, что он знает людей, на слово которых можно положиться, что жесткий купированный вагон — это как раз то, что нужно человеку, желающему с удобствами и без толкотни поехать с семьей на курорт.

Ключи от дома на время отъезда Джалил муаллим отдал одному из самых близких соседей, нефтянику Кериму. Чтобы не причинять человеку лишних хлопот, Джалил муаллим отвел от дворового крана в сад и к грядкам огорода шланги так, что Кериму для полноценного полива оставалось только каждый вечер полностью открывать кран и закрывать его ровно через сорок пять минут — время, установленное Джалил муаллимом в результате тщательно проведенного хронометража.

Купе, в котором разместилась семья Джалил муаллима, действительно оказалось очень удобным. Он одобрительно оглядел полки полированного дерева, стенки, покрытые блестящим пластиком, проверил освещение, позволяющее включать в зависимости от желания яркий или ночной свет, испытал на исправность, сразу разобравшись в ее назначении, лестницу-стремянку. Первым делом после осмотра он распределил места, предоставив нижние полки матери и жене с четырехлетним сыном, а верхние себе и дочери. Потом глянул на часы и, убедившись, что до отхода поезда остается вполне достаточно времени, около получаса, побежал в буфет, находящийся напротив вагона на перроне, и купил десять бутылок минеральной воды, чтобы в пути никому, а особенно детям, не пришлось пить сырой воды: время летнее и для всяких заразных заболеваний самое подходящее. Как только поезд тронулся, Джалил муаллим зашел в туалет и переоделся, надел новую полосатую пижаму и мягкие спортивные туфли, специально купленные перед поездкой на курорт. Некоторое время он постоял в коридоре, пока окончательно не стемнело, потом зашел к себе в купе, где в это время Мариам ханум рассказывала о Кисловодске. Глядя на радостно взволнованную мать, Джалил муаллим еще раз с удовлетворением отметил, что поездка на мать действует очень благотворно и, даст бог, хорошо отразится на ее здоровье. Мариам ханум рассказывала о каком-то «Храме воздуха», о зеленых тенистых полянах вокруг него и о случае, происшедшем в этом самом «Храме воздуха», который не то сам был рестораном, не то ресторан был при нем, в этом Джалил муаллим так и не сумел разобраться. В остальном об этом случае Джалил муаллим знал все до подробностей. На одном из вечеров с музыкой и танцами его покойный отец встретился со своим дальним-дальним родственником полковником Мехмандаровым, тем самым, который был полковником царской армии, а в революцию перешел на сторону Красной Армии и впоследствии стал одним из первых советских генералов. Джалил муаллим слушал до тех пор, пока Мариам ханум не рассказала почти все (как генерал, которого она видела в тот вечер единственный раз в жизни, пригласил ее два раза танцевать танго, а Байрам-бек — супругу генерала, ныне покойную), а потом вежливо прервал мать, напомнив, что пора ужинать. Поступил он так потому, что хорошо знал продолжение этой истории: как дальше они все, взяв с собой шампанское и музыкантов, поехали до утра кататься на двух фаэтонах и что покойный отец в этот день был очень пьян, как он забавно вел себя, и дома Мариам ханум пришлось долго его уговаривать, чтобы он лег спать. Джалил муаллим считал нежелательным, чтобы эта часть истории рассказывалась при детях, особенно в присутствии десятилетней дочери.

Ночью он спал спокойно и крепко, проснувшись один раз под утро специально для того, чтобы проверить, все ли в купе спокойно, и почти сразу же снова заснул, успев только подумать, что все это происходит наяву и уже через день он будет в Кисловодске. На душе у него было хорошо.

В Кисловодске на вокзале очень долго пришлось ждать такси. Мать сказала, что в тот ее приезд, как только они сошли с поезда, их окружили извозчики, которые чуть не передрались из-за их вещей, каждый пытался затащить их в свой фаэтон. Наконец пришло такси, и Джалил муаллим велел ехать в контору, как выяснилось, находящуюся рядом с вокзалом, где сдают курортникам на лето комнаты. Здесь Джалил муаллим сказал, что ему нужна комната в каком-нибудь доме на улице Ребровая балка. Ему хотелось сделать приятное матери. Тут же к нему подскочила какая-то женщина, которая сказала, что у нее

как раз на Ребровой балке в доме сдается комната, чистая и светлая, со всеми удобствами, с двумя окнами в сад.

Джалил муаллим пригласил домовладелицу в машину, и они поехали. Мариам ханум сидела рядом с шофером, оживленная и радостная, как и в поезде. Она беспрерывно говорила о том, как непременно поведет детей по всем достопримечательным местам, найдет в себе силы, но отведет и покажет. Потом оживление прошло, и она вдруг замолчала, внимательно разглядывая многолюдные чистые нарядные улицы, по которым шумным потоком двигался транспорт, светлые дома с этажами сплошного стекла и большими открытыми балконами. Потом она повернулась к сыну, и он увидел, какое у нее лицо – растерянное и даже испуганное.

— Джалил, — оглядывалась она по сторонам, — куда мы приехали?

— В Кисловодск, — сказал Джалил муаллим.

— Нет, — сказала Мариам ханум. — Это не Кисловодск.

— Просто он очень изменился, — подумав, сказал Джалил муаллим. — Вот ты в Баку нигде не бываешь, а то убедилась бы, что и он здорово изменился. Целиком новые улицы появляются. Это везде так быстро строят. Вот сейчас приедем на Ребровую балку, и сразу же все вспомнишь, — он попытался пошутить, чтобы как-то поднять ее настроение, — и убедишься, что мы в Кисловодске, а не в Сочи.

По желанию Джалил муаллима, по Ребровой балке машина два раза проехала из конца в конец — для того, чтобы совершенно расстроившаяся мать успокоилась, увидев знакомую улицу.

Он даже велел шоферу на минуту остановиться у дома, в котором жила в тот свой приезд мать, она так подробно рассказывала об этом доме, что он запомнил его номер.

— Вот твоя Ребровая балка, — сказал Джалил муаллим, — здесь ты жила.

— Это не Кисловодск, — сказала мать, и его поразил ее голос, ставший вдруг старчески уставшим и надломленным. — Не может город так измениться. Ничто не может так измениться, всегда что-то остается. Здесь даже воздух теперь другой, я же помню его запах. Это другой город, я тебе говорю, как бы он ни назывался. Здесь все другое. Я же все хорошо помню, ты же знаешь, какая у меня память. Эта улица ничего общего не имеет с Ребровой балкой, на которой мы жили с твоим покойным отцом. Что бы тебе ни говорили, верь мне!

Расстроенный Джалил муаллим вместе с шофером перетащили вещи в дом. Комната и впрямь оказалась просторной и светлой, здесь стояли шифоньер, стол и три кровати, из которых одна была двуспальной. Для девочки хозяйка поставила раскладушку, а одну из односпальных кроватей Джалил муаллим оттащил в сторону и отделил ее для себя от всей остальной комнаты ширмой, также принесенной хозяйкой.

Дом Джалил муаллиму понравился. Может быть, тем, что был очень похож на его бакинский: столько же комнат — четыре на бельэтаже, почти так же расположенные, с широкой верандой, опоясывающей весь дом, и даже в ванной была установлена такая же, как у него, ленинградская колонка. Единственное различие — так это двускатная крыша, покрытая красной черепицей, и деревянный чердак. Джалил муаллим подумал, что

неплохо бы такую крышу построить и ему — она лучше, чем плоская, покрытая черным киром, будет защищать летом дом от жары. Решил он это сделать после возвращения Симурга. И чердак пригодится — поставит там ульи, пчелам понравится, на высоте и в безветрии.

Джалил муаллим прилагал много усилий, чтобы улучшить настроение матери. Первые дни он только и занимался тем, что разъезжал с ней по местам, о которых столько слышал. На следующий день с утра поехали к «Храму воздуха». Джалил муаллим, по рассказам матери, представлял себе, что это место загородное, в лесу. И ожидал увидеть что-то необычное, он не представлял себе никогда конкретно что именно, но уж во всяком случае не новый ресторан с открытой верандой на крыше в обыкновенном городском саду с асфальтированными аллеями, проложенными между рядами ухоженных, самых обычных деревьев, не то акации, не то сирени.

— Хорошее место, — сказала Мариам ханум, когда они вышли из такси у «Храма воздуха», она уже чувствовала себя виноватой в том, что обманула ожидания сына, который так старался, чтобы всем было хорошо, и поездку эту фактически ведь затеял, зная, как дороги ей кисловодские воспоминания. — Детям есть где поиграть.

Джалил муаллим только вздохнул и переглянулся с женой. Он испытал облегчение оттого, что не сообщил матери торжественно, как совсем было собрался, что она наконец, спустя столько лет, находится у того самого «Храма воздуха».

С того места, где они сидели за столом на веранде, открывался вид на весь город в легкой, рассеивающейся под солнцем дымке тумана. Вид был неплохой, но ни в какое сравнение не шел с удивительной панорамой Баку из ресторана «Дружба», что в Нагорном парке. И меню здесь, в «Храме воздуха», гораздо хуже, чем в «Дружке», а когда подошел официант, выяснилось, что доброй половины блюд, перечисленных в меню, на самом деле нет.

Вежливый официант уверял, что блюда, отсутствующие в утреннем меню, непременно бывают вечером, но Джалил муаллим, твердо знающий, что в Баку осетрину на вертеле с наршарабом и мелко накрошенным рейханом всегда можно получить хоть на ужин, хоть на завтрак, начал понимать, что неизвестно как для приезжающих из других городов, но для бакинца Кисловодск — это не бог весть что.

Поездили и по другим заветным местам, и все с таким же успехом. Мариам ханум время от времени на этих экскурсиях вроде бы начинала припоминать что-то, но припоминала без всякого энтузиазма и радости. Джалил муаллим не верил ей, сильно подозревая, что мать по доброте душевной не хотела его огорчать окончательно. А потом утомившаяся от всех этих посещений мать и сразу же поддерживавшая ее жена попросили его дать им отдохнуть в доме, потому что по городу они походили достаточно, город как город, ничего особенного.

Теперь Джалил муаллим, позавтракав, уходил почти на целый день в город, оставляя семью дома. Дети играли в саду с хозяйскими детьми, их одногодками, а женщины, успевшие подружиться с хозяйкой, занимались, с утра сходяв на рынок, домашними делами.

Сперва он заходил на почтамт, проверял, нет ли писем от Симурга, потом шел в парк или просто гулял по улицам. Разузнал, где находится баня с отдельными номерами, вернулся оттуда возмущенный, дав зарок в Кисловодске больше в баню не ходить. Оказались номера крохотными душевыми кабинками с узеньким предбанником, в котором отвратительно пахло карболкой.

Шли дни, и Джалил муаллим совершал свои ежедневные прогулки, испытывая острую тоску по своему дому, саду. Представлял себе, что находится он не в опостылевшем парке с красными дорожками из толченого кирпича, с белыми колоннами под крытой аркой, на которой с вечера до поздней ночи бесплатно играл симфонический оркестр непонятные мелодии, а на своей улице. Представлял себя то беседующим с соседями, то работающим в саду или сидящим в чайхане после бани. Наблюдал Джалил муаллим людей, толпами слоняющихся весь день напролет, и пытался доискаться смысла их пребывания в Кисловодске. Он готов был понять человека, приехавшего сюда на лечение, хоть и не верил, что можно от чего-то излечиться минеральной водой. Но вот остальные... Здоровые, разгуливающие по улицам и паркам чужого города, как будто нельзя было делать то же самое там, откуда они приехали. И спрашивается, для чего людям, явно не нуждающимся, а по большинству было видно, что это как раз такие, ехать за тридевять земель и ютиться втроем-вчетвером в одной комнате — так, как это сделал он, Джалил муаллим, владелец дома в четыре комнаты. И, думая над этим постоянно, стал Джалил муаллим склоняться к мысли, что всем этим людям, которые приехали сюда, ожидая найти здесь бог знает что и не найдя этого, просто неудобно уезжать раньше времени по разным соображениям: одни жалеют деньги, уплаченные вперед за комнату, другим стыдно перед соседями раньше времени возвращаться, третьи, может быть, не могут достать билет на поезд... Впрочем, Джалил муаллим был уверен, что большинство приезжих покидает Кисловодск, побыв здесь всего несколько дней, а многочисленность толпы поддерживается на том же уровне за счет ежедневного пребывания наивных новичков.

И если бы не соседи по улице, во мнении которых преждевременное возвращение произвело бы немедленную и необратимую инфляцию ценности поездки, он не задумываясь уехал бы. Дал бы телеграмму Симургу, чтоб тот зря не посылал больше писем сюда, договорился бы на почтамте, чтобы письмо, случайно пришедшее после его отъезда, переслали бы в Баку, и уехал бы. А так придется здесь торчать по крайней мере две недели.

Похожие друг на друга, как некрасивые близнецы, дни казались ужасно длинными. И вечера тоже. Джалил муаллим совершал привычную вечернюю прогулку в парке, которая, в отличие от бакинской, где на каждом шагу встречались знакомые, где он чувствовал себя человеком нужным и уважаемым, не доставляла ему никакого удовольствия. Он шел по аллее, называемой непонятно почему, без всяких к тому оснований, «Алеей роз», и вышел на поляну с большим календарем из живых цветов в центре ее. Ежедневные изменения, происходящие в той части календаря, где располагались выложенные из белых цветов числа месяца, сделали эту поляну терпимой и почти приятной деталью в скучной и бессмысленной прогулке. Джалил муаллим испытал удовлетворение от столь наглядного и внушительного подтверждения того, что день отъезда приблизился еще на сутки, и пошел по тропинке, ведущей в верхнюю часть парка. Пошел без всякой цели, просто чтобы куда-то идти. Домой, где все давно спали, возвращаться не хотелось. В полумраке из густых зарослей доносились невнятные голоса, приглушенный смех. Джалил муаллим знал, что

если сойти с тропинки, то непременно набредешь через несколько минут на скамейку, на которой целуются пары, распределившие ее узкую плоскость на пять или шесть участков, каждый из которых отделен от соседнего несколькими сантиметрами нейтральной полосы, придающей очередным двум владельцам территории обостренное ощущение суверенитета и независимости.

Джалил муаллим презрительно усмехнулся, подумав о том, что стоило ли этим людям тратить время и деньги, собирать вещи и ехать поездом или лететь самолетом для того, чтобы, сидя в тесноте на скамейке, с кем-то целоваться, когда это же можно было делать у себя в городе, была бы охота!

В воздухе стоял тонкий аромат, и люди начинали неожиданно испытывать неизъяснимое волнение, когда до них в ясную летнюю ночь теплым порывом воздуха доносило нежный запах каких-то незнакомых цветов.

Джалил муаллим чувствовал запах цветов и никак не мог вспомнить их название. Он совсем было остановился на цветах табака, но время цветения его наступает на полмесяца позже.

Утомившись, он сел на скамейку на поляне, что перед летним кинотеатром. Рядом с ним сел человек, в котором Джалил муаллим, несмотря на неяркое освещение, узнал своего бакинского соседа, прокурора Гасанова. Они сердечно поздоровались: действительно, приятно встретить в чужом городе земляка, вдобавок человека интеллигентного и уважаемого. У прокурора было прекрасное настроение, от него пахло вином и шашлычным дымом. Он сказал, что пришел к кинотеатру встретить жену и сына.

— Жена третий раз этот фильм смотрит — «Гранатовый браслет». Смотрит и каждый раз плачет. Я это время тоже с пользой провел, пошел здесь в шашлычную с товарищем. А теперь хочу проводить их домой. Интересно, скоро кончится фильм? У кого бы узнать?

Джалил муаллим сказал, что, по-видимому, скоро, и спросил, в свою очередь, Гасанова, давно ли он в Кисловодске и как ему здесь нравится.

— Рай, — коротко сказал прокурор, — настоящий рай. Как вспомню, что через неделю в Баку возвращаться надо, в пекло самое, — в пот бросает... Я ведь сюда каждый год приезжаю, самое подходящее место для отдыха, и климат прекрасный, и поразвлекься есть где, я уже не говорю о продуктах, все свежее...

Джалил муаллиму показалось, что он ослышался.

— Вам здесь нравится?!

— А как же! — вытаращил глаза прокурор. — Стал бы иначе я тратить на это отпуск. Да я целый год, а работа у меня такая, что мозги закипают, целый год только и мечтаю, скорей бы в отпуск, в Кисловодск. А вам что, не нравится здесь? — спросил прокурор, в котором вопрос Джалил муаллима пробудил любопытство.

— Ну почему же, — неопределенно сказал Джалил муаллим, решивший ни за что полностью не раскрывать карт. — У Кисловодска свои преимущества, у Баку свои.

— Да какие там преимущества, извините, — запальчиво перебил его прокурор. — Баку, о чем говорить, прекрасный город. И жить в нем хорошо, и работать, но раз в год из него уезжать просто необходимо, и Кисловодск для этого самое подходящее место. А вон и мои идут, — сказал прокурор, заметив в толпе, выходящей из кинотеатра, жену и сына. — Всего вам доброго! А насчет Кисловодска мы как-нибудь в следующий раз поговорим, надеюсь вас переубедить.

Они попрощались, и прокурор, взяв под руку жену, скрылся в одной из боковых аллей, а Джалил муаллим глядел ему вслед, снисходительно усмехаясь.

В этот вечер Джалил муаллим задержался в парке дольше обычного. Он припомнил в мельчайших подробностях разговор с прокурором и никак не мог успокоиться. «И как притворяется, — с горечью думал Джалил муаллим, — для чего притворяется, перед кем? Кисловодск ему нравится! Никогда в это не поверю! А прокурор-то хорош! Ишь ты, без курорта он не может. Баку его не устраивает. Эх!»

Джалил муаллим с досадой плюнул и отправился домой. По дороге он окончательно пришел к убеждению, что прокурор притворялся, так как про него доподлинно было известно, что он не дурак, а человек умный и свое дело знающий.

Джалил муаллим еще раз порадовался и похвалил себя за то, что, не опускаясь в разговоре до лжи и притворства, не выдал себя ничем. Кроме того, он решил оставшиеся дни в Кисловодске, и в будущем в Баку, держаться от прокурора подальше, как от человека неискреннего и пытающегося подняться во мнении окружающих, прибегая с этой целью к недозволенным методам.

Никакими словами не описать волнение и душевный трепет, испытанные Джалил муаллимом при возвращении домой. Впервые ощутил он мудрость и радость, заключенные в древнем заклинании предков: «Да будем всегда мы в доме своем, с семьей своей», — провозглашенном, как только они переступили порог, Мариам ханум, строго придерживающейся на склоне лет традиций.

Оглядел он каждое дерево в саду, не пропустил его взгляд ни одной лозы, изнемогавшей в ожидании его под тяжестью налитых гроздьев, ни одной грядки с поспевшими дынями, с горячей, растрескавшейся на солнце кожей, с раскрытыми порами, из которых струился аромат густой, смешивающийся с запахами тархуна ярко-зеленого, рейхана фиолетового и летних цветов — темно-красных, бледно-желтых и нежно-белых — в букет сладостный и благовонный, от которого кружило голову и теснило дыхание.

Не сумел бы Джалил муаллим сказать, что за чувства одолели его, когда переступил он наконец порог своего дома. Может быть, схожи были они с теми, что испытывает перелетная птица, вернувшаяся домой после долгой зимы с дальней чужбины, где и солнце светило в полную силу, и ясные ночи были без заморозков, и с пропитанием не худо было — под каждым камешком червячок, за каждым листиком букашка, а все же не по душе все неродное — и дом строить не хочется, и семьей обзаводиться. И оставляется чужбина без сожаления — в день, когда зов крови срывает с места в свирепый, беспощадный к слабым перелет. И только на родине расправляются крылья и рвется из груди не всегда складная, но всегда радостная от безмерного счастья песня.

О чувствах своих рассуждать он не любил, но, если бы в этот момент оказался рядом с ним понимающий человек, вполне возможно, сказал бы ему Джалил муаллим, что совершенно он счастлив оттого, что вернулся снова домой: понял он и почувствовал сегодня, что нигде, кроме как в этом доме, на этой улице, не может быть он счастливым и не сумеет по-другому жить... Но где его найти, понимающего собеседника, достойного в такой возвышенный момент равного откровенного разговора.

Он ходил и ходил в одиночестве по двору, ходил уже бесцельно, как лунатик, и никак не мог понять, что же это еще, кроме всего, что он уже видел и даже потрогал, сообщало всему его существу спокойствие и уверенность. Долго не мог понять, и только тогда, когда позвали его к первым пришедшим гостям, вдруг осенило — рокот, рокот котлов бани над головой, мерный и спокойный. Засмеялся Джалил муаллим и, улыбаясь, пошел в дом приветствовать своих гостей. Пришли соседи с поздравлениями по поводу приезда. Беседа затянулась за полночь. О Кисловодске отзывался Джалил муаллим сдержанно, не хвалил и не хаял, свое мнение выражать избегал, щедро используя в объективном рассказе только факты. В одном месте не удержался, с пристрастием в голосе сообщил, что продаваемая в Баку прекрасная минеральная вода нарзан, почти столь же вкусная, как боржом или истису, в Кисловодске, где он специально несколько раз ходил ее пробовать в разное время дня в разные павильоны, представляет собой тошнотворное теплое пойло, от незначительного употребления которого у человека появляется во рту странный привкус и портится настроение.

С Кисловодска разговор перешел на события, случившиеся в отсутствие Джалил муаллима. Событий произошло много, и рассказ о них занял немалое время, но слушал он с интересом, без напряжения. Рассказали и главную новость — Рашид Наджаф-заде, сосед, живущий в доме напротив, обменяв квартиру, переехал в Сумгайыт, где устроился работать там на каком-то предприятии. Рассказали, как Рашид сожалел по поводу отсутствия Джалил муаллима, хотел с ним посоветоваться, но потом все же сам решился, потому что ждать бы его не стали, а условия предложили ему несравненно лучшие, чем в Баку, взяли его, несмотря на то, что он лишь техник, видимо, учтя стаж, на инженерную должность с приличной зарплатой. Квартира для обмена подвернулась тоже хорошая, в новом доме. И все же, выслушав столь благополучные сведения, чувствовал Джалил муаллим, когда замолчали и смущенно переглянулись его соседи, что не досказывают они какие-то вещи, неприятные для них или могущие расстроить его. Попросил он их продолжить, и рассказали ему соседи, что переехавший в квартиру Рашида человек, шофер такси по имени Манаф, никому из соседей не нравится, а говоря проще, после его появления житья на улице не стало. Ни совести нет у него, ни стыда. Почти каждый день напивается, а потом или на углу стоит, лезет к людям с разговорами, от которых душу воротит, или отправляется домой и начинает скандалить с женой, употребляя такие ругательства, гнусные и бесстыдные, какие знает не каждый самый последний негодяй-хулиган. И все это вечером и даже ночью, при открытых окнах по случаю лета, и женщины слышат, и дети. А еще страшнее, что и жена его, лачарка, в знании ругательств ему не уступает и в бесстыдстве тоже — проклятый голос ее пронзительный на четыре квартала разносится. Видно, в том же хлеву воспитывалась, что и муж. Ни дочери своей взрослой не стесняются, ни людей посторонних.

В разгар одного из скандалов постучался к нему сапожник Давуд, вызвал наружу и попросил прекратить безобразничать. Так он на Давуда с палкой бросился. Давуд палку

отнял и совсем уже собирался обломать ее об его голову, сбежавшиеся соседи отняли, тоже ведь нехорошее дело, Давуд человек еще молодой, а этот подлец ведь не мальчик, семья у него, дети, говорят, взрослые в Сумгайыте работают — возраст такой, когда люди давно уже и уважением пользуются, и почетом. Ждали все приезда Джалил муаллима — как он решит, тому и быть. Джалил муаллим к такому серьезному делу отнесся соответственно и, пообещав какой-нибудь выход придумать, с соседями распрощался.

Не понравились новые соседи Джалил муаллиму. После того как он услышал в первый раз площадную ругань, пришел Джалил муаллим в ярость и решил раз и навсегда: или прекратит новый сосед не позднее как со следующего дня это неслыханное хулиганство, или переселится с этой улицы — третьему не бывать! Нет, совсем не понравились они ему. И как они могут понравиться и кому, если обе женщины, и жена и дочь, целый день по улице перед домом слоняются, сидя на скамейке, семечки грызут или разговаривают громко?

Спрашивается, что это за женщины, которым не стыдно стирание исподнее вывешивать в таком месте, что любому прохожему видно, и женское и мужское? И каким только несчастливым ветром их на эту улицу занесло?

На следующее утро в сопровождении двух уважаемых людей улицы отправился он к новому соседу. Попросил, чтобы вышли из комнаты и жена его, и дочь, и крепко поговорил с ним. На свое счастье, почувствовал Манаф сразу, что за человек Джалил муаллим: на глазах оробел, а потом и извиняться стал. Сопровождающие впоследствии рассказывали, что никогда они не слышали, чтобы Джалил муаллим так резко с кем-нибудь разговаривал.

И переменялся человек. Конечно, пить и скандалить не бросил, но если пил, то соображения до конца не терял, по улице шел не качался, со всеми на улице здоровался, даже с незнакомыми и посторонними прохожими, а скандал с женой затевал только после того, как наглухо захлопывал окна — застекленные рамы закрывал на запоры и ставни. На улицу пробивался теперь только невнятный шум. Так в духоте и ругался.

Часто на следующий день извинялся перед самыми уважаемыми соседями, а уж если встречал Джалил муаллима, извинялся непременно. А через некоторое время и на женщин перестали внимание обращать, привыкли, пусть себе валандаются, если дома работы не находят. Кому какое дело, еще из-за чужих жен и дочерей переживать — своих забот хватает!

Со временем и разговаривать с ними стали. До близости, до дружбы никто из соседей их не допускал, но из дому не гнали, если мать или дочь забегали за нужной по хозяйству мелочью.

Начали они с Джалил муаллимом здороваться. Первое время отвечал он на приветствия сухим кивком, а потом, заметив в их поведении кое-какие сдвиги к лучшему, стал здороваться, хоть и весьма сдержанно, но как полагается мужчине с женщиной — первым и в голос.

А Дильбер, так звали девчонку, начинала улыбаться, как только он, возвращаясь с работы, выходил из-за угла. Дивился каждый раз Джалил муаллим платью на ней: девка почти на выданье, а платье на ней — на чучело лучше надевают. С заплатами, выгоревшее и до того

на ней тесное и короткое, что когда нагибается она или, подтянув подол, садится на низкую скамейку перед своими воротами, то лучше мужчине с нормальной нервной системой в ту сторону не глядеть. Смотрела она на Джалил муаллима всегда с улыбкой, и улыбка у нее была приятная, губы свежие, как и полагается девушке этого возраста, а влажные зубы мелкие, но ровные, и смотрела она, когда улыбалась, прямо в глаза, а во взгляде ее было что-то манящее и бесстыдное, что совершенно не удивительно для дочери таких родителей, как ее.

Если же шла она в этом платье против ветра, видел ее всю Джалил муаллим: когда налетал норд, ложилось оно на ее теле ровным тонким слоем, облекая все линии, подчеркивая и выделяя все, что есть главного в теле молодой женщины. А когда вдруг вышла она, откинув назад голову, с распустившимися на ветру волосами, прикрыв ладонями глаза, из тени на солнце, — показалось ему на миг, что идет она навстречу в ярком солнечном свете, насквозь пронзившем тонкую ткань платья, обнаженная, улыбаясь ему своей обычной улыбкой.

Отвернулся Джалил муаллим в смущении и забыл поздороваться с ней. Решил сказать ее отцу, чтобы присмотрел за дочерью, придел бы ее как следует, а потом раздумал: очень уж неприятным был отец ее Манаф, да и мать тоже.

Яблоко от яблони далеко не укатится, как сказано... Значит, так тому и быть.

А Манаф, несколько раз встречая его на улице, пытался разговор затеять, в гости навязывался, упоминая о своем умении в нардах, но Джалил муаллим все эти попытки пресекал незамедлительно.

А однажды, когда Джалил муаллим совершал обход двора после работы в ожидании обеда, увидел ее на тутовом дереве. Она его увидела раньше и моментально скатилась с дерева, разорвав платье снизу до самого пупка. Стояла она перед Джалил муаллимом, руками стягивая разодранное платье, улыбалась ему в лицо губами, влажными от красного сока туты, и в смущенной улыбке ее он увидел и просьбу и покорность.

Все это Джалил муаллим увидел, прежде чем круто повернуться и пойти к дому, увидел за несколько мгновений, понадобившихся ей для того, чтобы срывающимися руками стянуть на коленях и животе платье, под которым Джалил муаллим увидел, и она поняла, что он увидел, почти все ее тело с нежной розовой кожей, на котором ничего больше, кроме этого разорванного платья, не было.

Пообедал Джалил муаллим в полном молчании. Обдумывал он, в каких выражениях скажет жене, чтобы не пускала она больше в дом новых соседей. Не мог позволить Джалил муаллим, чтобы ходили к нему в дом, где вдобавок растет дочь, жена и дочь такого человека, как Манаф. Но в тот день так и не сказал Джалил муаллим ничего жене.

Три дня ходил он, удивляясь и сердясь на себя за свои колебания, дело было абсолютно ясное и правильное, а то, что обидятся они, — пусть, заслужили. Так он все это и сказал жене, зная, что, как бы ей не было неприятно, послушаться не посмеет, — ноги тех больше в его доме не будет.

Но один еще раз они все-таки к нему пришли. В тот день, когда умерла Мариам ханум...

Скончалась Мариам ханум вечером, когда Джалил муаллим уже вернулся с работы. Болела она месяца два. Начались у нее боли в груди спустя некоторое время после приезда с курорта, но продолжала она помогать невестке по дому, за внуком следила и сердилась, если уговаривали ее прилечь отдохнуть. Последние две недели лежала неподвижно, не в силах была руку поднять. Исхудала за эти дни чрезвычайно, прямо прозрачная вся стала, морщилась от ставшей уже нестерпимой боли в груди и негромко стонала, если думала, что в комнате никого нет. Вызывал Джалил муаллим к матери лучших врачей, пригласил самого известного профессора, но все они говорили в один голос, что не существует никакого средства, с помощью которого можно было бы удержать Мариам ханум в этом мире. Удивляло это Джалил муаллима и приводило в отчаяние. Никак не укладывалось в голове, как же это так: человек ведь не в аварию попал смертельную, и в пожаре не горел, и крыша на него не обрушивалась, и возраст такой, что ему жить и жить в доме сына, который матери самый лучший уход обеспечит, любое лекарство достанет... Заболел человек не в войну, в мирное время, а никто ему на помощь прийти не может. Погибает человек на глазах, а ты ничего сделать не в состоянии. Все как во сне кошмарном.

Выписывали врачи всякие обезболивающие лекарства и уходили.

Лежала Мариам ханум вовсе бесчувственная, но в последний день пришла в себя, и даже боль ее отпустила. Умерла в полном сознании, попрощавшись с сыном и домочадцами. Слушал Джалил муаллим, онемев от горя, мать, говорившую ему с доброй улыбкой на обескровленном лице, что уходит она из этого мира со спокойной душой, что была она счастливой и что гордится она сыном своим Джалилом и будет молиться за него и там, куда уходит без страха и робости.

Вспомнила мужа покойного, с которым прожила короткую, но радостную совместную жизнь, и безвременно умершего в ту же проклятую войну сына Таира. Завещала Джалил муаллиму, чтобы он продолжал к единственному брату Симургу относиться с любовью и заботой, помогал бы ему во всем и чтобы жили всегда вместе, никогда не расставаясь, одной семьей, ибо не зря сказаны слова мудрые и вещи, что погибнет дом, разделившийся изнутри.

Похоронил Джалил муаллим мать, как и просила она, рядом с родителями ее, покоившимися под тяжелыми памятниками-надгробьями из черного мрамора. Последним бросил горсть земли на холмик, выросший над тем страшным местом, куда только что опустили тело Мариам ханум, и дал себе слово поставить ей через год, после того, как осядет земля, памятник и посадить деревья, чтобы покоилась Мариам ханум вечным сном под их прохладной сенью.

Пока стоял Джалил муаллим с прижавшимися к нему плачущими женой и детьми и глядел невидящими глазами на могилу, уложили на нее родственники, соседи и сослуживцы многочисленные венки, и скрылась могила под холмом из живых цветов. А траурные шелковые ленты с надписями сняли с венков и аккуратно свернули в один клубок, чтобы позже узнала семья покойной имена всех, кто почтил скромно память Мариам ханум.

С этой же благой целью дали объявление в городские газеты с выражением соболезнования по поводу безвременной утраты.

Почувствовал в эти дни скорби Джалил муаллим, что не одинок он — каждый вечер приходили люди, чтобы разделить его горе, не оставить его один на один с тяжелыми мыслями.

Устроил Джалил муаллим после похорон поминки. Свыше ста человек собралось за столами, расставленными в ряды в комнатах и во дворе. Подавался за поминальным столом в больших блюдах политый обильно маслом с растворенным в нем шафраном сваренный из самого лучшего риса плов с тремя подаваемыми отдельно приправами — из баранины с каштанами; из курятины, запеченной в яичном омлете с кислым соусом из алычи; из рубленого мяса, перемешанного с кишмишом и хурмой, с имбирем и разными душистыми специями.

В других блюдах подносилась долма из жирного мяса с рисом, завернутых в тщательно отобранные при жизни самой Мариам ханум молодые виноградные листья и ею же заготовленные впрок в больших стеклянных банках со специальным раствором, позволяющим храниться листьям не портясь весь год до следующего лета. К долме подавались чаши с кислым молоком, с натертым и размешанным чесноком и без него. И; зелень на столе была разная и свежая: мелкая краевая редиска молочной спелости, молодой тархун, очищенный от жестких стебельков, кресс-салат, зеленый лук и рейхам, самая отборная зелень на любой вкус. В кувшинах и графинах подавали к еде прохладный розовый шербет, в меру подслащенный, утоляющий жажду.

А после того как столы были убраны, подали крепкий, по всем правилам заваренный чай и к нему нарезанные лимоны, и в плоских тарелках янтарную халву, посыпанную корицей.

Давал поминки Джалил муаллим и на третий день, и на седьмой, и в последний раз — на сороковой. Неукоснительно делал все, что полагается, для того чтобы должным образом почтить память незабвенной матери Мариам ханум.

В каждодневных трудах и заботах постиг он глубокую мудрость бесчисленных поколений предков своих, придумавших и сохранивших обычаи, могущие показаться ненужными и бессмысленными человеку недалекому, тщательное выполнение которых только и позволяет, в суете и хлопотах, в окружении людей, временами забывая о вечной утрате единокровного существа — горе, страшнее и мучительнее которого не знал весь род людской за долгое время своего существования.

Приходили помогать жене Джалил муаллима все соседки. Приходила и жена Манафа с дочерью. Несколько раз видел он Дильбер: то на кухне, то во дворе встречался с ее взглядом, печальным и вроде бы удивленным, но жене по поводу этих возобновившихся хождений, конечно, ничего не сказал, потому что должны быть открыты двери дома в трауре для каждого, кто пожелает прийти в него. И даже с Манафом, регулярно приходившим первые семь дней каждый вечер, а потом на протяжении сорока дней в каждый четверг, разговаривал Джалил муаллим без видимого неудовольствия.

Все свои сбережения до единой копейки потратил Джалил муаллим в эти сорок дней. Потратил без всякого сожаления, в твердой уверенности, что не подобает ему экономить в столь святом и важном деле. Полагал Джалил муаллим, что уровень и тщательность выполнения этого обряда очень точно отличают людей порядочных и заслуживающих

уважения и одобрения окружающих от других — без роду и племени и в большинстве своем беспутных.

Деньги, скопленные им для брата, он не тронул, справедливо рассудив, что Симургу, пока он встанет твердо на ноги, они просто необходимы. А сам он в них не нуждается совершенно и в будущем отложит столько же и больше; слава богу, жив он и здоров, и дела служебные идут как надо.

Симургу о смерти матери сообщать не стал, не хотел расстраивать и омрачать жизнь находящемуся на чужбине брату, которому оставалось служить еще три месяца.

Ожидал приезда брата с нетерпением. Сам покрасил стены в его комнате клеевой краской и даже нанес на них при помощи трафарета незатейливый рисунок. Очень нравилось Джалил муаллиму возиться и с ульями — пожалуй, не в меньшей степени, чем работать в саду. Подходил к ним Джалил муаллим первое время, покрываясь с головой специальной защитной сеткой, а потом признали его пчелы и подпускали к себе без всякой сетки. Все же изредка жалили, даже спустя долгое время. Старый пасечник, продавший Джалил муаллиму ульи, объяснил ему, когда тот обратился за консультацией по этому и другим вопросам пчеловодства, что пчелы чувствуют, когда подходит к ним человек со злостью, раздраженный. Чувствуют непостижимым образом и не любят этого, вот тогда-то и жалят даже хозяина.

Никак не мог вспомнить Джалил муаллим, в каком настроении он подходил к ульям в те разы, когда его жалили пчелы, и не очень поверил старику, тем более что пчелиные укусы его не очень огорчали: слышал Джалил муаллим от людей, что от пчелиного яда для человеческого организма только польза.

Все шло своим чередом и на работе и на улице. Жил Джалил муаллим нормальной приятной жизнью, к которой он привык, и другой не желал. Сохранялось в этот период у него постоянным хорошее ровное настроение, получал удовольствие от работы и от дома, и от всего, что давал ему окружающий мир.

Он не особенно рассердился, когда пришел к нему как-то вечером Манаф. Сразу объяснил, что пришел по делу, и попросил взять дочь его на какую-нибудь работу во вверенном Джалил муаллиму почтовом учреждении. Почтительно просил в помощи не отказать. Джалил муаллим, подумав, сказал, что на почте у него свободного места нет, но обещал переговорить со своим хорошим приятелем, заведующим соседней аптекой, что на улице Чадровой.

После первого дня работы Дильбер в аптеке Манаф пришел к Джалил муаллиму со всей своей семьей. Очень благодарил и сам, и его жена.

Дильбер была в новом платье, с гладко причесанными волосами под розовой лентой, такой он ее и не видел никогда, смотрела на Джалил муаллима с восторженной улыбкой на покрасневшем лице и тоже поблагодарила его, смущаясь и запинаясь на каждом слове. Принесли они и подарки – серебряную сахарницу со щипцами и букет роз.

Джалил муаллим сказал, что он устроил Дильбер на работу в аптеку, где заведующим работает очень приличный человек, не ради Манафа и его семьи, а выполняя свой долг, обязывающий его помочь каждому человеку вступить на правильный путь.

Говорил Джалил муаллим с ними хоть и сдержанно, но вполне доброжелательно. Серебряную сахарницу со щипцами Джалил муаллим вложил в руки Манафа, когда они встали уходить. Манаф попробовал было запротестовать, но сразу же замолчал, после того как Джалил муаллим посмотрел на него взглядом, употребляемым им в тех случаях, когда надо было напомнить человеку, что он забывается, и поставить его на подобающее место. За розы же Джалил муаллим поблагодарил.

Пришел наконец и тот счастливый день, о наступлении которого мечтал столько времени Джалил муаллим. На вокзал он приехал за час до прихода поезда. Прижал Симурга к груди и долго не отпускал, чувствуя, как захлестывает его долгожданная радость, ощущая, как заполняется с каждым мгновением объятия образовавшаяся где-то совсем близко под сердцем три года назад пустота; держал в объятиях брата, самого любимого и близкого человека на земле, и словно пил из животворного родника, возвращающего жизнь и удешаляющего силы.

С вокзала поехали на кладбище, бросился там Симург на могилу матери и заплакал в голос, навзрыд, захлебываясь по-детски в слезах.

Не мог Джалил муаллим никак успокоить брата, а потом, в первый раз после похорон, заплакал и сам, и принесли слезы ему ясность в сердце и легкость.

Весь вечер рассказывал Симург брату, не спускающему с него счастливых глаз, невестке и племянникам, и гостям, пришедшим поздравить братьев, о своем житье-бытье в армии, о красивом местечке, где находилась его часть. Интересно рассказывал, часто употреблял слова, которых присутствующие до сих пор не слышали и по этой причине значение их не понимали совсем или частично.

После ухода гостей Джалил муаллим, подождав, пока легли спать жена и дети, поговорил с братом. Первым делом отдал ему свой подарок — сберегательную книжку, выписанную на имя Симурга с четырьмястами пятьюдесятью рублями на счету.

Симург был тронут чрезвычайно, посмотрел на старшего брата с любовью во взгляде, но сказал, что денег этих не возьмет, так как Джалил муаллиму, человеку семейному, они нужнее, сам он обойдется, тем более что из армии вернулся с деньгами. Даже после того, как купил кое-какие гостинцы и подарки и потратил в пути, у него осталось семьдесят рублей, их ему на первое время вполне хватит.

Джалил муаллим на него прикрикнул с деланной грозной строгостью в голосе и, несмотря на сопротивление, засунул сберкнижку в нагрудный карман гимнастерки брата. И взял с него слово, что тот потратит эти деньги на одежду и все остальное, нужное человеку, начинающему новую жизнь.

Покончив с этим приятным делом, спросил Симурга о его планах. Спросил, горя желанием посоветовать что-нибудь полезное, а также узнать заранее, где он может помочь Симургу сам, а где через свои связи и влияние. Готов был ради брата обратиться с любой просьбой Джалил муаллим к кому угодно, и даже к человеку, у которого никогда не попросил бы ничего для себя.

Спросил Джалил муаллим, будет ли Симург поступать на будущий год в институт, как собирался перед уходом в армию, спросил, собирается ли брат до начала экзаменов

поработать, и если собирается, то где. Спросил и стал ждать ответа Симурга. О планах в личной жизни, скажем, о женитьбе или близких к ней делах, по врожденной щепетильности спрашивать не стал, захочет брат — сам скажет.

Сказал Симург, что насчет института он еще подумает, но что точно на будущий год поступать никуда не будет; возможно, впоследствии, когда окончательно встанет на ноги, начнет учиться, но только заочно, в очный институт он не пойдет — не только потому, поспешил он прибавить, что придется жить на содержании у брата, а потому, что не тянет его несамостоятельная студенческая жизнь, вышел он из этого возраста и теперь хочет пожить, как подобает взрослому человеку.

Расстроило Джалил муаллима намерение Симурга в отношении его давней мечты — получения высшего образования, точнее, отсутствие этого намерения, но спорить он не стал, твердо надеясь со временем уговорить брата, не понимающего по молодости значения высшего образования для человека, желающего добиться в жизни приличного положения.

В отношении работы Симург сказал, что пойдет работать по специальности — в армии выучился он на шофера, овладел этой профессией хорошо, получил удостоверение водителя первого класса, дающее ему право работать на автотранспорте любого типа и любой мощности, а также на специальных машинах — «Скорой помощи», оперативных милицейских и пожарных.

Поморщился Джалил муаллим: не так представлял он себе жизнь брата, не думал, что Симург, которого он в мечтах видел не иначе как врачом и у которого, в конце концов, есть среднее образование, будет работать, как его сосед пьяница Манаф, шофером. Но любой честный труд почетен, в этом Джалил муаллим был уверен всегда, и поэтому промолчал, опять же надеясь, что со временем удастся уговорить Симурга выбрать поле деятельности более соответствующее положению семьи, выпестовавшей и воспитавшей его, а также снабдившей фамилией, заслуженно пользующейся среди людей прекрасной репутацией, и именем, от чьего владельца только и зависело — станет ли оно в будущем произноситься с таким же уважением, как ныне произносится имя Джалил муаллима.

А насчет своих личных дел Симург сказал приблизительно то же самое, что и насчет учебы: сказал, что пока не начнет зарабатывать так, чтобы содержать безбедно жену и детей, о женитьбе он даже и думать не хочет.

Пожелал брату Джалил муаллим доброй ночи, первой ночи под отчим кровом после долгого отсутствия, пошел и сам лег, несколько раз вздохнул, прежде чем заснул, по поводу быстротечности времени, превратившего брата из юноши с мягким овалом лица, каким он был до ухода в армию, в молодого сильного мужчину с волевыми складками, появившимися на выбритых щеках по обеим сторонам рта, со взглядом, который становился временами тяжелым и жестким.

Не на машине «Скорой помощи», не на пожарной или милицейской, на что он имел полное право как шофер первого класса, и даже не на такси стал работать Симург. Сел он за руль тяжелой грузовой машины, принадлежащей автобазе, занимающейся междугородными перевозками. Работал много и с охотой. Уезжал из дому на неделю, на десять дней, возвращался выбившимся из сил, исхудавшим и бледным от частых бессонных ночей в

пути, но неизменно веселым, с подарками для детей и невестки. Привозил каждый раз непременно подарок и для брата. И не какой-нибудь, по которому сразу видно, что куплена вещь случайно, лишь бы подарить, а что — неважно. Подбирал подарки Симург брату со вниманием, с учетом его вкусов и желаний.

Каждый раз трогал Симург любящее сердце брата, очень недовольного им за его непослушание при выборе работы, нопереживающего молча, ничем этого внешне не выражая, лишь изредка спрашивая, долго ли еще Симург собирается вести цыганский образ жизни. В те дни, когда Симург находился дома, недовольство не мешало Джалил муаллиму следить за отдыхом и питанием брата. Силы у Симурга восстанавливались быстро, и уже на второй день после приезда возился он вместе с Джалил муаллимом в саду или развлекал всех в доме рассказами о смешных приключениях, непременно случающихся с ним в каждой поездке.

Говорил Симург, что работа ему очень по душе: дает возможность и места новые повидать, и с людьми познакомиться, что тоже не последнее дело, можно заработать хорошие деньги, конечно, если ты человек неленивый, смекалистый и в своей профессии мастер.

Зарабатывал Симург прилично, тратил деньги легко, щедро угощал не чаявших в нем души друзей. Доходили до Джалил муаллима слухи, что видят часто брата в ресторанах, выслушивал он это, умело скрывая огорчение, давал понять, что прекрасно об этом осведомлен, так же как и об остальных делах младшего брата, не предпринимającego ничего без предварительного согласия и одобрения Джалил муаллима. Стал Симург хорошо одеваться, глядя на него, можно было подумать, что этот высокий красивый парень в модном, ладно сидящем на нем костюме — какой-то корреспондент, или комментатор телевидения, или даже футболист команды мастеров класса «А».

А спустя месяцев шесть-семь после поступления на работу в грузовую автобазу, выбрав момент, когда остались они в комнате наедине, вытащил Симург из кармана деньги — четыреста пятьдесят рублей и, тепло поблагодарив брата за заботу, протянул их ему.

— Я же не в долг их давал, — сказал Джалил муаллим, — я подарил их тебе.

Тогда Симург вытащил из кармана сберегательную книжку и раскрыл ее на странице, удостоверяющей, что владелец ее богатств своих не только не растратил, а значительно приумножил, доведя их до шестисот пятидесяти рублей.

— Видишь, — сказал Симург Джалил муаллиму, настроение у него, как всегда, было хорошее, и он улыбался приятной для брата, всегда доброй и почтительной улыбкой, — я себя не обижаю. Бери свои деньги со спокойной душой. Спасибо, что выручил. А если будут тебе нужны деньги, ты только скажи мне. Очень я тебя прошу!

Похвалил Джалил муаллим Симурга, сказал, что Симург молодец, стоит на правильной дороге, как и полагается мужчине, который чего-то хочет добиться в жизни. Сказал, что на деньги, возвращенные Симургом, он совершенно не рассчитывал ни ныне, ни в будущем, так как давал он их ему от всего сердца, и принимает их только потому, что отдает Симург не от последнего.

Говорил все слова эти Джалил муаллим, искренне радуясь

успеху брата и по великодушию даже не напоминая на сей раз о своем желании видеть Симурга на другой, более спокойной и солидной работе.

Но почему-то без всякого удовольствия взял деньги Джалил муаллим, которые он копил для брата в течение трех лет, думая, что будет у него в них крайняя нужда, и которыми он, судя по сберкнижке, ни разу не воспользовался.

Вспомнилось, что без малого сорок раз посетил он сберкассу, для того, чтобы иметь возможность, как и полагается старшему в семье, вручить брату в первый день приезда свидетельство заботы о нем и внимания.

Вспомнил, как вернул ему деньги Симург, вернул с легкостью, видимо, с такой же, с какой они ему достались. Вздохнул и попытался отогнать откуда-то наползающее смутное предчувствие вступления его жизни в какой-то новый период, необычный и странный. Но не сумел тогда Джалил муаллим, при всей дальновидности и проницательности, угадать, что принесет ему и его близким это новое, наступление которого Джалил муаллим угадал в тот день обостренным чутьем.

Неприятную весть получил он в своем кабинете в то время, когда мысленно решал конкретные задачи дальнейшего улучшения работы почтового отделения. Работало отделение хорошо, довольны были подписчики и посетители, и получало это соответствующую оценку в министерстве: ставили на совещаниях отделение в пример другим, непременно и справедливо отмечая при этом, что в успехе, достигнутом коллективом в деле обслуживания населения, значительные заслуги бессменного руководителя его Джалил муаллима. Но не кружил успех голову Джалил муаллима, усвоившего из опыта своей работы на почте, что не существует в этом мире предела для усилий в процессе формирования совершенного, ускользающего даже от человека, приблизившегося к нему вплотную. Всегда напоминал себе о том, что остановиться в нынешнее стремительное время, довольствуясь сделанным, означает отставание, и не щадил на работе своих сил и умения.

От размышлений его отвлек приход Мамеда Бабанлы, вот уже около двадцати лет работающего в отделе посылок. По выражению его лица и по тому, как он тщательно закрыл за собой дверь, Джалил муаллим сразу понял, что случилась неприятность, но не сумел представить ее размеров.

Мамед молча подошел к столу и положил перед Джалил муаллимом вечернюю городскую газету, сложенную так, что сразу бросилось в глаза набранное крупным шрифтом название статьи «Автодельцы и длинный рубль» и подзаголовок, удостоверяющий принадлежность статьи к фельетонному жанру, наиболее чтимому и часто читаемому Джалил муаллимом.

Джалил муаллим читал статью и почти физически ощущал, как рушится и идет прахом все, чего он добился в жизни с таким трудом, потратив на это долгие годы, не имея никакой поддержки, рассчитывая только на свои силы.

Статья была о Симурге.

Если говорить точнее, не только о Симурге — упоминались в ней, и не в малом числе, и другие люди. Но свою фамилию Джалил муаллим увидел в нескольких местах. Фельетон был написан автором, чья манера письма и умение делать выводы в конце каждой статьи, и сами выводы чрезвычайно импонировали Джалил муаллиму и всегда вызывали в нем согласие и единомыслие. И на этот раз автор остался верен себе — доступным и простым языком, умело и вовремя используя обличительные факты, он рассказал историю деятельности и разоблачения группы недобросовестных людей, которые, воспользовавшись преступной близорукостью и халатностью руководителей грузовой автобазы, занимались темными махинациями, совершали левые рейсы с грузами овощей и фруктов в северные районы страны, получая за это суммы, многократно превышающие самые максимальные, предусмотренные в вознаграждение за аналогичную деятельность трудовым законодательством.

В конце автор, как всегда, выразил уверенность, что героев фельетона постигнет возмездие, и просил широкую общественность присмотреться к среде, из которой появляются вышеназванные и подобные им преступники-стяжатели.

Тяжело было Джалил муаллиму читать фельетон. Очень тяжело. Знал он, что не заслужил такого несчастья, ничем не заслужил, и почувствовал к себе жалость. Нельзя же бить человека так жестоко и неожиданно, и какого человека! Его, Джалил муаллима. За что?

Припомнил теперь Джалил муаллим мелкие события последнего месяца, на которые не обращал внимания по занятости, а также по причине неограниченного доверия к брату.

Только теперь понял, почему за последний месяц ни разу не уехал Симург в поездку. Ведь в фельетоне прямо сказано, что как раз месяц с небольшим назад и были у него отобраны права бдительным автоинспектором.

И еще стало обидно Джалил муаллиму, что не рассказал ему ничего брат о случившемся и узнает он о происшедшем в его семье, в его доме через городскую прессу. Отчетливо понял в этот момент Джалил муаллим, что одним махом кладет конец сегодняшней номер вечерней газеты его влиянию и уважению к нему на улице, пачкает несмываемой прочной краской до сих пор безупречную фамилию.

Поднял Джалил муаллим голову, увидел Мамеда Бабанлы, стоящего перед ним, о присутствии которого он совершенно забыл, и снова опустил ее. Посмотрел Мамед еще некоторое время на склоненную голову своего заведующего и огорченно вздохнул. Давно началось их знакомство — бегал в те времена Джалил муаллим с пачкой газет, основным содержанием которых были сообщения о положении на фронте и в тылу, а сам Мамед только начал работать после госпиталя, где залечили ему раны. Ежегодно устраивал Мамед веселое угощение в день, длинно и высокаторжественно называемый им «днем чудесного возвращения к жизни». Никому не рассказывал Мамед о том дне, когда случайно нашли на берегу в темноте санитары стремительно отступающей медчасти его утратившее все признаки жизни тело и на катере перебросили в полевой госпиталь.

Никому не рассказывал он и о том, что пережил в долгие часы, прежде чем потерять сознание...

Припадая на правый бок, проворно сновал Мамед от окошечка к столу с весами, неутомимо упаковывая и выписывая квитанции правой рукой с уцелевшими большим и указательным пальцами, которая скорее походила на рачью клешню, чем на приличествующую человеку обыкновенную пятерню.

Советовались люди с бывалым фронтовиком Мамедом, прежде чем забить ящик с теплыми вещами, и говорил он слова одобрения и похвалы посетителю, купившему их на последние деньги для родного человека на фронте. Шли посылки первые семь-восемь месяцев одним потоком в направлении из Баку на запад, и пахло от них чесноком, луком и колбасой, вяленой рыбой и прочим съедобным.

Относился Мамед к Джалил муаллиму неизменно хорошо, правда, были и легкие перебои в их отношениях, неизбежные при совместной работе, но несущественные и следа в памяти обоих не оставившие. Крепко уважал Джалил муаллима за самостоятельность и деловитость. Поражала Мамеда в нем, еще в подростке, неутолимая жажда во что бы то ни стало выбиться в люди. И вместе с тем частенько усмехался без злости Мамед, наблюдая в первые дни назначения заведующим, а изредка и потом, степенные и вельможные манеры Джалил муаллима.

А сейчас стоял Мамед перед Джалил муаллимом молча и жалел его, а когда поднял заведующий голову, то были в его глазах растерянность и боль, что равносильно для Мамеда не высказанной вслух просьбе о немедленном совете и помощи.

— Подписку на вечернюю газету объявят только со следующего года, — медленно сказал Мамед, осторожно подготавливая Джалил муаллима. — В министерстве обещали, что на будущий год, наконец, можно будет подписаться...

— При чем здесь подписка? — надтреснутым голосом спросил Джалил муаллим. — Неужели ты думаешь, что я сейчас могу думать о подписке?

— А нигде в правилах не сказано, сколько номеров может купить один человек, — продолжал медленно Мамед. — Один человек может купить много, скажем, весь тираж, отпущенный в эту субботу на район, а другой в этот день, с кем не бывает, останется без газеты. А можно и по другим районам поездить, слава богу, все продавцы в киосках знакомые. И машина есть.

Скользнул Мамед взглядом по лицу Джалил муаллима и увидел на нем ожидание и расцветающую теплыми красками надежду.

— Тираж нашего района я весь задержал. Попросил Самедова, он оставил у меня в отделении, оказывается, всего пять тысяч номеров. А в киосках других районов начнут продавать «вечёрку» минут через сорок, час. И нам же все районы ни к чему — только на 7-ю Параллельную бы успеть и к Бешмертебе.

Дальнейшее происходило словно в тумане — покорно пошел Джалил муаллим за Мамедом и сел в машину. Заехали сперва в сберкасса, где взял он двести рублей, затем объехали несколько киосков — машина с забившимся в уголок Джалил муаллимом останавливалась, не доезжая до киоска полквартила, Мамед вел со знакомым киоскером какие-то переговоры, а затем возвращался с очередной пачкой газет. Несколько раз хотел Джалил муаллим сказать ему вслед, что надо немедленно вернуть все газеты для

немедленной распродажи и что он не желает использовать в личных интересах служебное положение. Он хотел остановить Мамеда. Но не остановил. А напротив, молча, не прерывая, слушал рассуждения Мамеда, утверждавшего на всем протяжении этой мучительной поездки, что раз в жизни любой гражданин имеет полное право купить десять тысяч номеров газеты, если расплачивается немедленно и наличными, а не пытается взять их по перечислению и за государственный счет, как это наверняка сделал бы какой-нибудь ловкач.

Он говорил весело, искренне, не придавая происходящему никакого значения, и Джалил муаллиму на несколько мгновений показалось, что прав Мамед: ничего плохого не делает он, в конце концов покупает газеты на свои собственные деньги. Но долго еще мучила его после этого дня мысль о том, что принял он участие в каком-то пусть не преступлении, но в высшей степени недостойном деле и много должен теперь приложить усилий и стараний в дальнейшей жизни, чтобы получить право забыть об этом дне.

Домой Джалил муаллим вернулся, когда стемнело. С помощью Мамеда перенес во двор пачки газет и выложил их в ряды в дальнем углу веранды, строго-настрого запретив жене и детям дотрагиваться до них.

Мамед, пообедав, просидел до позднего вечера и ушел, окончательно удостоверившись, что ни один из соседей фельетона непрочитал, о чем убедительно свидетельствовало отсутствие вопросов у тех, кто нашел нужным посетить Джалил муаллима в этот пригожий субботний вечер.

Давно уже ушел Мамед, улеглись дома все спать, а Джалил муаллим сидел, не зажигая света, на веранде и, облокотившись на перила, готовился к решительному и неприятному разговору с неизвестно где задержавшимся Симургом. Долго ждал, а потом заснул, убаюканный успокаивающим рокотом котлов в сочетании со столь же приятным для слуха звоном сверчков в дворовом саду, не выдержав утомления и тревожностей этого дня.

Проснулся Джалил муаллим от тихого прикосновения к плечу. Он открыл глаза и увидел в мягкой полутьме веранды лицо брата.

— Добрый вечер, — негромко сказал Симург.

Джалил муаллим смотрел на него, еще не совсем очнувшись после долгой дремы, пребывая несколько мгновений в состоянии, чрезвычайно редко выпадающем по милости скупой природы на долю человека, когда ни одна мысль не занимает его разума и он какие-то никем не измеренные частицы времени воспринимает окружающий мир, ни о чем не думая и не вспоминая. Джалил муаллим испытал чувство мягкой умиротворяющей радости оттого, что увидел брата. Она шла к нему от Симурга, почти ощутимо передаваясь через мягкий теплый воздух, через рассеянный свет уличного фонаря, бледными неровными бликами пробивающийся сюда сквозь неподвижную густую листву. Он ощутил радость, и она исторгла из него короткий смех, исходящий как будто из глубины груди.

— Ты так хорошо спал, Ага-дадаш, — сказал Симург, не убирая с его плеча руки, — что я не хотел тебя будить.

— Давно ты пришел? — спросил Джалил муаллим.

— Только что. Я арбуз принес, ты не вставай, я сейчас его нарежу и принесу.

Они ели сладкий прохладный арбуз, и Джалил муаллим обдумывал, с чего начать ему серьезный разговор с Симургом. Он вымыл руки и, подождав, пока Симург уберет со стола и выбросит корки, включил свет. Он молча подвел Симурга к пачкам газет, разложенным в углу веранды.

— Откуда это? — спросил Симург, во все глаза глядя на невиданное скопище газет.

— Я, — сказал Джалил муаллим, — это я объехал киоски и, сгорая от стыда, скупил все номера сегодняшней газеты.

— Зачем? — спросил Симург. — Для чего тебе столько? — И Джалил муаллим услышал в его голосе удивление. — Ты вот эту газету купил, с фельетоном, что ли? Вот же есть. Я купил одну.

Симург достал из кармана измятый экземпляр одного из нескольких тысяч себе подобных на полу, не имеющих в своем числе, в отличие от самой низкопроцентной лотереи, ни одного счастливого номера.

— Неужели мне надо тебе объяснять это? — с горечью сказал Джалил муаллим. Ему стало обидно оттого, что Симург даже не понял, на что пошел Джалил муаллим во имя интересов семьи, доброго имени Симурга и своего. — Нам надо поговорить.

Они поговорили. Симург сказал, что у него были большие неприятности и что с работы ему пришлось уйти. Права вернули, но уволить уволили. Он знал, конечно, что участвует в незаконных махинациях, но активного участия в них не принимал, просто выполнял сверхурочные рейсы и держал язык за зубами, платили очень здорово. К суду его привлекать не будут, учли то обстоятельство, что в подложных путевках его руки нет, а также безупречное прошлое и прекрасные характеристики из армии.

Он сказал, что ни о чем Джалил муаллиму не рассказывал после того, как стряслась беда, конечно, не потому, что считал брата чужим, а просто не хотел расстраивать его.

— Теперь ты понял, что я был прав, когда просил тебя не идти шофером? Помнишь, как я тебя просил? Сейчас не было бы этого позора!

— Какого позора? Я не украл и никого не убил, ну, попал в неприятность, — сказал Симург.

— Случилось... С кем не бывает.

— Ты бы обо мне подумал? — спросил Джалил муаллим. — О людях, которые знают нашу семью?

— О соседях, что ли? — вспыхнул Симург, и в первый раз в его голосе послышалось раздражение. Джалил, что ты мне о них сейчас говоришь? Какое мне дело до всех наших знакомых?

Они говорили еще долго, но Джалил муаллим чувствовал, что Симург слушает его не то что непочтительно или невнимательно, а с каким-то странным выражением на лице, как будто все, что говорит Джалил муаллим, давно ему известно и кажется не очень интересным. Правда, в конце концов он согласился во всем с братом, согласился и пообещал устроиться

на другую работу, не шофером. Но согласился как-то вяло, почти небрежно, думая о чем-то своем.

— Может быть, я тебе могу чем-нибудь помочь? — спросил Джалил муаллим и сразу же и надолго пожалел, что задал Симургу этот вопрос.

— Ты? — с непередаваемым удивлением спросил Симург. Он поднял голову и внимательно посмотрел на Джалил муаллима с неуловимой улыбкой, пробежавшей по губам. — А чем ты можешь помочь мне?

— Подумать надо, — после паузы сказал Джалил муаллим. — Надо подумать. — Он не находил слов и потер рукой лоб, пытаясь связать разноцветные, пестрые нити мыслей, содранные каждая со своей катушки и разорванные в нескольких местах интонацией, прозвучавшей в голосе Симурга. — Подумать надо. Посоветоваться... .

— Не надо ни с кем советоваться, Джалил, — мягко сказал Симург. — Я же не маленький, сам устроюсь. Ты не беспокойся, все будет хорошо. Ладно? — Он дождался ответа, но брат лишь молча кивнул. — Я уже кое-что надумал. Выясню как следует и все тебе расскажу на днях. Спокойной ночи.

Он ушел к себе в комнату, а Джалил муаллим, прежде чем пойти лечь спать, еще долго сидел на темной веранде, вспоминая в подробностях свою поездку по газетным киоскам и весь разговор с Симургом, и от всего этого ощущал тоску в сердце и растерянность человека, заглянувшего в зеркало и неожиданно увидевшего вместо привычного своего изображения другое, незнакомое, ничтожное лицо с жалким выражением в глазах, и вместе с тем знающего, что лицо это отныне его и никуда ему от него не деться.

Безработным пробыл Симург недолго. Неделю, а может быть, чуть больше. Уходя из дому рано, возвращался поздно, охотно объяснял за ужином, что ищет место по своему вкусу, такое, чтобы и платили много, и чтобы работа была интересная и, самое главное, чтобы не отнимала много времени у человека, который собирается на будущий год поступить в вечерний или заочный институт. Говорил, что совсем было нашел место, где и зарплата такая, что весь месяц стараться будешь — до конца не потратишь, и премию в конце года в конверте на стол кладут, и машину на дом за каждым сотрудником по утрам присылают, и совсем было согласился на долгие уговоры самого главного руководителя этого прекрасного места, но отказался, когда узнал об одном условии. В этом месте Симург замолчал, и сделал вид, что надолго занялся едой, а дождавшись непременно следующего за паузой вопроса с напряженным вниманием слушающей наивной Лейлы ханум, что это за такое жуткое условие, из-за которого он отказался, объяснил, что он ни за что не согласится работать в белых перчатках и в черном галстуке, а это условие там непременно и обойти его никак нельзя. Лейла ханум уговаривала его подумать и из-за такого пустяка не лишать себя прекрасной работы, но Симург был неумолим: надо быть дальновидным, объяснял он Лейле ханум: сегодня ты согласишься надевать на работу белые перчатки, а завтра тебя заставят пить пиво с копченым кутумом, даже если тебе не очень хочется. Лейла ханум возмущенно всплескивала руками и говорила, что никогда не подозревала, что Симург такой привередливый и принципиальный. Джалил муаллим слушал эти разговоры, изредка улыбаясь, но вопросов насчет трудоустройства брата не задавал.

А в один из вечеров Симург пришел довольный и сказал, что наконец нашел подходящую работу и что насчет галстука и белых перчаток никто там даже не заикнулся.

— И машина будет по утрам приезжать за тобой? — спросила Лейла ханум, придающая большое значение, как почти все женщины, внешним признакам благополучия и преуспевания.

— Насчет машины я спросить забыл, — с сожалением сказал Симург, — но вот зато катер будет точно, а иногда и вертолет. Ты, Лейла ханум, летала когда-нибудь на вертолете?

Джалил муаллим понял, что это не шутки.

— Куда ты поступил?

— Случайно получилось, но, по-моему, мне повезло, — нерешительно сказал Симург, чувствовалось, что он очень хочет уродить брату. — Встретил я Заура Нагиева, давно его не видел, первый раз после окончания школы встретил. Ты помнишь, Ага-дадаш, он иногда захаживал к нам?

— Это не его отец в главмилиции работал, который с женой развелся?

— Вот-вот... Он сейчас в нефтяном институте заочно учится. Деловой парень, не трепач. Он, как окончил школу, пошел работать. Сейчас он буровой мастер, а как институт окончит, сразу его начальником участка назначат, твердо обещали. Он по морскому бурению. Десять дней в море — зато два дня дома.

— Понятно. На Нефтяных Камнях работает?

— Вроде, но не совсем, — сказал Симург, — они новые основания осваивают. Он мне все подробно объяснил, как новый стальной остров построят в море, они его сразу начинают осваивать...

— Все ясно, — сказал Джалил муаллим. — Ничего хорошего. — Опасная это работа. День и ночь в открытом море. Не пойму только, что ты там будешь делать, ты же не нефтяник?

— Я тебе все объясню, — торопливо перебил его Симург. — Во-первых, ничего опасного, Заур мне все объяснил: единственная неприятность, говорит, это когда неожиданно норд задует, тогда приходится еще несколько дней сверх работы посидеть в море, но за это потом столько же дней отгула полагается; во-вторых, им дизелист нужен, а я дизель как свои пять пальцев знаю; и зарплату там почти двойную платят по сравнению с городом; и еще премия полагается за выполнение плана, а план они ежемесячно перекрывают, это не считая ежегодной надбавки за стаж. И еще самое главное, — сказал Симург, — это институт, морских нефтяников в первую очередь принимают, какие отметки — неважно, только бы сдал, хоть на все тройки. И путевки на любой курорт дают. Куда хочешь — туда дают.

— Дело твое, — сказал Джалил муаллим. — Раз поступил, то и толковать уже не о чем. Но мне бы не хотелось, чтобы мой родной брат мок круглые сутки в море, как будто в целом городе ему места не нашлось... Люди в Баку из деревни приезжают, устраиваются, куда ни пойдешь, везде бывшие крестьяне работают, академиками становятся, а ты... — Джалил муаллим махнул рукой.

— Все будет хорошо, Джалил, — сказал Симург. — Я сегодня там побывал, эта работа по мне. Самостоятельная работа — и заработать можно хорошо, и перспективы есть.

— А в медицинский ты поступать не думаешь? — безучастным голосом спросил Джалил муаллим.

— Куда мне. Я только раз в госпитале побывал, — сказал Симург, — когда с рукой случилось, так меня от одного запаха лекарств чуть не стошнило. Это не для меня.

— А ты не писал нам, что был в госпитале, — сказала Лейла ханум.

— Ничего серьезного и не было. Руку я вывихнул, вправили и через пять дней выписали. Таких страхов я там посмотрелся. Нет, это дело не для меня.

— Значит, ты твердо решил?

— Да, — сказал Симург.

— Ладно, — сказал Джалил муаллим. — Что я могу сказать? С богом. Мне только одного хочется: чтобы все у тебя шло хорошо.

— Я это знаю, ага-дадаш.

Загорел Симург на новой работе так, что и узнать его нельзя было. Пахло от него в первые несколько дней после каждой вахты нефтью и морем, рассказывал он о своей работе с увлечением, и узнавали домашние и соседи из этих рассказов много нового и интересного, и это было удивительно, что под самым боком, на этих самых Нефтяных Камнях, о которых столько пишут в любой газете и по телевидению показывают, происходят события, о которых никто и представления не имел до тех пор, пока Симург не стал там работать. Все просто несказанно удивились, когда узнали, что на этих самых искусственных островах и вообще на всей территории Нефтяных Камней действует в полную силу «сухой закон» и ни один человек, начиная с самого большого начальника и кончая приехавшим на один день журналистом, не смеет нарушить его. Удивились и тому, что обыкновенные телевизоры, привезенные на Нефтяные Камни, принимают не только программы Баку и Москвы, но ни с того ни с сего начинают ловить на других каналах Астрахань и Красноводск, Пятигорск и всякие неизвестные заграничные станции почти без помех.

По всему было видно, что своей работой Симург был доволен и уходить не собирался. В рассказах Симург каждый раз, и Джалил муаллим знал, что это он делает ради него, подробно описывал строгие правила техники безопасности и перечислял, какие самые современные вертолеты и катера переданы в распоряжение специальной службы безопасности.

— Ты, пожалуйста, ни о чем не беспокойся, — сказал Симург. — Ничего со мной там не случится. Хорошее это дело... По-моему, ты чем-то недоволен? Ради бога, скажи, я немедленно все сделаю, как ты хочешь.

— Я доволен, — сказал Джалил муаллим. — Мне же очень мало что надо. Лишь бы вы все были здоровы. — В последнее время он все больше ощущал какое-то непривычное для него безразличие. И на работу ходил без всякого удовольствия. Это, конечно, ни в коей мере не означает, что начал относиться Джалил муаллим к своим служебным обязанностям без

прежнего рвения или небрежно, нет, но потеряла для него служба притягательный интерес во всех делах, прежде украшающих ее. Благодаря таким делам человек, умудренный опытом, имел возможность проявить свои способности не только в почтовой профессии, деле по справедливости трудном, но для Джалил муаллима давно уже не представляющем никакой сложности, а в более тонкого свойства взаимоотношениях с подчиненными — до сих пор откровенными с ним, использующими в свое благо его наказания и советы в области служебной и личной жизни. Теперь, вызвав сотрудника, совершившего какой-нибудь проступок, связанный с доставкой телеграммы или другой корреспонденции несвоевременно или не по тому адресу, он коротко выговаривал ему и отпускал, не задерживая на долгий разговор с воспитательной целью, не приводил ему примеров, из которых явствовало, что может сыграть роковую роль в жизни человека проступок, на первый взгляд не представляющий особого значения, и не рассказывал поучительных историй из жизни своей и людей, хорошо ему знакомых и уважаемых.

Не готовил теперь дома речи накануне общего собрания коллектива; выступая, говорил на удивление всем недлинно и только о вещах, имеющих самое непосредственное отношение к собранию.

Изменился и в других мелочах, например, прошел, брезгливо морщась, мимо невоспитанного юнца, нагло курившего в помещении почтового отделения. В прежние времена подвел бы его Джалил муаллим к табличке «У нас не курят» и при всеобщем внимании сбил бы с юнца спесь несколькими значительными словами, после которых человек впечатлительный и с сохранившейся совестью перестал бы на всю жизнь курить не только на почте или, скажем, в магазине, а даже, извините, в общественном мужском туалете, куда иногда тоже заходят по нужде люди с астмой и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. И с Мамедом изменились у него отношения. Если прежде подолгу разговаривал с ним Джалил муаллим и беседа доставляла им, давним соратникам, удовольствие, то теперь разговаривал Джалил муаллим с ним только по делу и избегал его во все остальное время, хоть и был Мамед всегда — и в плохой день, и в добрый — хорошим товарищем, а можно даже сказать, другом.

И чего никогда с ним раньше не бывало, теперь, находясь на службе, почти все время он с нетерпением ожидал окончания рабочего дня и с наслаждением думал о вечере в своем доме или в саду.

По дороге раскланивался со знакомыми, обменивался новостями и мнениями, и, как всегда, подходя к дому, непременно встречал кого-нибудь из семейки Манафа: или самого Манафа, или жену его, как обезьяна, непрерывно лузгающую семечки, или дочь. Правда, в последнее время Дильбер попадалась ему на пути редко, здоровалась с ним серьезно, без прежней улыбки, радостной и бесстыдной, и одевалась она теперь вполне пристойно, в скромное платье, в меру короткое, обнажающее стройные ноги до вполне допустимого уровня. Все эти перемены объяснял Джалил муаллим благотворным влиянием на нее работы в коллективе и испытывал удовлетворение от того, что семена, посеянные им в тот день, когда устроил он девчонку в аптеку, кажется, приносят добрые плоды.

Работал каждый день в саду, возился с пчелами, наблюдая с удовольствием за их образом жизни, поливал и вскапывал землю, обрезал лозы и лишние побеги плодовых деревьев и

других, посаженных в декоративных целях для создания пейзажа, веселящего взгляд и душу.

С братом, в те дни, когда он жил на берегу, встречался ежедневно за завтраком и обедом. По всему было видно, дела у Симурга шли хорошо.

Несколько раз спрашивал Симург брата, нужны ли ему деньги, и настойчиво предлагал, но Джалил муаллим каждый раз отвечал, как оно и было на самом деле, что денег ему не нужно, хватает своих с избытком.

Приходили к Симургу часто по вечерам гости, все больше товарищи его возраста, каждый раз приглашал Симург и Джалил муаллима, он, посидев для приличия полчаса, уходил, не желая стеснять их. Часто доносился на веранду смех, поражала Джалил муаллима их способность смеяться по любому поводу, совсем, по его мнению, не смешному. Пытался он было объяснить это их молодостью, но, вспомнив, что в возрасте Симурга и его товарищей он был не таким, а вдумчивым и сдержанным и никогда в компаниях так легкомысленно себя не вел, пришел к неизбежному выводу, что есть в их воспитании пробелы, к, сожалению, уже невозможные.

Раздражало Джалил муаллима и то, что приходили к Симургу знакомые и незнакомые ему в самое неурочное время — утром, вечером, а нередко и ночью. Видно, привыкли к такому ненормированному режиму на своем острове. Словом, превратился дом в проходной двор.

Долго крепился Джалил муаллим, но потом все же позволил себе в разговоре вскользь намекнуть на это Симургу.

Симург сказал, что его самого давно беспокоит мысль, что частые хождения к нему могут потревожить покой брата и его семьи, и попросил разрешения у Джалил муаллима открыть для визитов к нему ворота черного хода, заколоченные за ненадобностью в незапамятные времена еще покойным их отцом и расположенные в противоположном конце двора, в той же стороне, куда выходила дверь комнаты Симурга.

Джалил муаллим согласился, удивившись, как это такая простая мысль не пришла ему в голову, и добавил, что надо ту часть двора, пустынную и неблагоустроенную, служившую все эти годы свалкой для всяких ненужных вещей, привести в более или менее пристойный вид. Симург согласился и сказал, что весь этот участок он приберет и полностью озеленит.

Джалил муаллим это намерение одобрил, но, улыбнувшись энтузиазму брата, попросил Симурга не увлекаться, так как посадка деревьев требует массы времени, труда и внимания. Напомнил, сколько лет понадобилось ему для того, чтобы довести сад до почти нормального уровня, и это при его умении и знаниях в области садоводства.

Симург засмеялся и сказал, что постарается справиться с благоустройством двора сам, не утруждая Джалил муаллима, у которого забот хватает и без этого.

На следующий день привел Симург двоих рабочих, которые, раскрыв ворота черного хода и убрав от хлама двор, накопили в местах, указанных Симургом, в течение трех дней множество ям. Потом въехали во двор один за другим два самосвала с кузовами, нагруженными до краев навозом.

Симург сказал Джалил муаллиму, что навоз куплен на мясокомбинате, где охотно продают его по пять рублей за машину.

И не успел изумленный Джалил муаллим оглянуться, как буквально за несколько дней оказалась другая половина двора засаженной разными деревьями, и не какими-нибудь чахлыми саженцами, а здоровенными стволами с аккуратно обрезанной кроной. Деревья отобрал Симургу по твердой государственной цене знакомый агроном из треста зеленого хозяйства.

Посадил Симург плодовые деревья, и в основном такие же, что росли на участке Джалил муаллима, — черный и белый тут, черешню, абрикос и гранат, появилась теперь во дворе и новая сельскохозяйственная культура — грецкий орех. Почти все до одного деревья принялись и дали зеленые побеги в ту же весну.

Полюбоваться садом Симурга приходили знакомые даже с соседних улиц. Восхищались, спрашивали у Симурга, как это ему удалось в такой короткий срок без всякой возни сотворить во дворе такое чудо зеленое, записывали номера телефонов мясокомбината и треста зеленого хозяйства и, что просто приводило Джалил муаллима в состояние недоумения, спрашивали у Симурга советов, какие деревья лучше всего посадить им в условиях их дворового микроклимата.

Проходя через его сад, вежливые соседи непременно поздравляли и Джалил муаллима, но советов его в области садоводства не спрашивали.

Одним словом, стал Симург непререкаемым авторитетом для соседей в сложных вопросах агрономии и почвоведения. Теперь приходили к Симургу друзья, а часто и соседи, через новые ворота.

В тот день Джалил муаллим вернулся домой в обычное время. Жена накрывала уже на стол на веранде, дети тоже были дома.

Джалил муаллим переоделся в домашнее, умылся и в ожидании обеда спустился во двор. Потом вспомнил, что принес Симургу письмо с почты, и решил занести ему в комнату, заодно напомнить, что наступило время обеда. Письма Симургу после армии приходили часто, из разных городов. Джалил муаллим, который, кроме официальных писем и открыток с поздравлениями, ничего не получал, с интересом слушал, когда Симург читал ему вслух. Писали в основном армейские товарищи о своем житье-бытье на гражданском поприще.

Джалил муаллим взял письмо и пошел к Симургу. Уже подходя к его комнате, еще на веранде услышал смех, от которого кровь прилила к его голове; доносился смех этот из комнаты Симурга. Понял сразу он, чей это смех, и возмутился всей душой. Джалил муаллим зашел не постучавшись, потому что дверь в комнату была приотворена и оттуда доносился голос брата, что-то весело рассказывающего. Он вошел в комнату и остановился на пороге, а остановился по той причине, что не знал, что ему делать дальше — то ли, поздоровавшись, пройти в комнату, то ли молча повернуться и уйти. А Дильбер сидела на кровати, ела виноград и одновременно улыбалась Симургу, сидящему близехонько у ног ее, на низенькой скамеечке.

Дильбер, увидев Джалил муаллима, улыбаться перестала, и взгляд у нее стал испуганным, а Симург поднялся навстречу брату и, поздоровавшись, попросил его присесть. Джалил

муаллим тоже поздоровался с Симургом, передал письмо, сказал, что обед стынет, и ушел. Ушел с обидой и возмущением, в висках у него закололо и в голове зашумело.

За обедом Джалил муаллим с Симургом почти не разговаривал, односложно отвечая ему, когда тот к нему обращался. А Симург вел себя как ни в чем не бывало, шутил, и чувствовалось, что ни в чем виноватым он себя не считает. Так и пообедали.

Утром уходя на работу, Джалил муаллим велел жене пойти к Симургу и сказать от его имени, чтобы ноги Дильбер больше в этом доме не было и что он, Джалил муаллим, очень огорчен поведением Симурга, который счел возможным привести в дом, где, кроме него, живет семья старшего брата, девицу такого пошиба, как Дильбер. Велел также Джалил муаллим Лейле ханум рассказать Симургу, что представляет собой семейка их соседа Манафа, и о том, как были изгнаны из этого дома Дильбер и ее мать.

Вечером Лейла ханум сообщила Джалил муаллиму, что Симург сперва ей ничего не ответил, только вздохнул, а когда она стала настойчиво спрашивать, что передать Джалил муаллиму, сказал ей Симург, что Дильбер к нему больше ходить не будет, пока не разрешит это Джалил муаллим. Еще сказал Симург, что он, поговорив с братом, надеется получить разрешение, потому что Дильбер – девушка хорошая, неглупая, и он не понимает, что против нее может иметь Джалил муаллим. Ведь никто за своих родителей не отвечает, особенно в таком почти несовершеннолетнем возрасте, как у Дильбер.

Джалил муаллим очень расстроился и стал обдумывать, какими доводами он должен убедить Симурга, что Дильбер не тот человек, с которым можно общаться. Доводов было много, и Джалил муаллим отобрал из них несколько самых веских.

Но Симург к брату с этим разговором не пришел. И Дильбер больше в их дом не приходила.

Джалил муаллим, думающий обо всем этом непрерывно, с облегчением решил, что Симург разобрался, что к чему, и вредное и компрометирующее знакомство с Дильбер прервал. Так он думал до тех пор, пока не встретил их, возвращаясь с работы. Стояли они на углу и не разговаривали, а просто молча стояли и смотрели друг на друга. И по всему было видно, что стоять так и смотреть друг на друга им очень приятно, если не сказать большего.

Джалил муаллим перешел на противоположный тротуар, и многие из тех, кто был в это время на улице, обратили внимание на то, что Джалил муаллим даже не посмотрел в сторону Симурга с Дильбер.

А через несколько дней Симург сказал Джалил муаллиму, что хочет с ним поговорить об одном серьезном деле. Джалил муаллим прошел с братом в свою комнату, чтобы никто не помешал им, и приготовился слушать. Сказал ему Симург, что любит он Дильбер любовью окончательной, и она его тоже, и что хочет он по этой причине жениться на ней в самое ближайшее время.

Просил Симург, чтобы Джалил муаллим, как и подобает старшему в семье, принял в этом деле самое что ни есть активное участие и пошел бы к отцу ее, Манафу, просить руки дочери для своего младшего брата. Слушал Джалил муаллим брата и понимал, что не шутит он, и не хотел в это верить.

Встал Джалил муаллим из-за стола и молча прошелся по комнате, стараясь удержать себя от слов запальчивых и обидных. Но больно было ему от того, что услышал, и страшно, потому что почувствовал он, что не удержать ему брата от шага позорного и, можно сказать, губельного. Даже горло ему перехватило. А когда отпустило, мог говорить он только шепотом.

— Ты же брат мне, — сказал он. — Как же ты можешь думать о женитьбе на такой, как Дильбер? С какой кровью ты хочешь нашу кровь смешать? У тебя же дети будут. Ты об этом подумал, прежде чем прийти ко мне с этим разговором? Подумал или нет?

— Я тебя прошу, — сказал Симург. — Я тебя прошу, Джалил, не нервничай. Пойми, я ее люблю. Ты мне поверь, она неплохая девушка.

— Не заставляй меня говорить слова, которые я не должен тебе говорить, — сказал Джалил.
— Нельзя на такой жениться, ты мальчишка еще, ты жизни не знаешь. Забудь ее, если только ты настоящий мужчина. О чести своей подумай!

— Я люблю ее, — сказал Симург.

— А ты знаешь, что мать ее шлюхой была известной и сестра старшая тоже, или не знаешь? Может быть, ты думаешь, что она лучше их окажется? Нет, так не бывает. Один ее вид чего стоит. Птицу по полету видать.

Побелел Симург от слов этих, зубы стиснул.

— Не говори так, Джалил, — сказал он. — Ну я тебя очень прошу не говорить так. Ведь я ее люблю, я женюсь на ней.

— Тогда забудь, что у тебя есть брат, — сказал Джалил муаллим. — Навсегда забудь. Все я тебе прощал, а вот этого не сумею!

Свадьбы не было. Да и какая может быть свадьба, если глава семьи, старший брат, в лицо невесты посмотреть отказался, с родителями ее поздороваться.

Уговаривали Джалил муаллима самые близкие друзья и родственники, но остался он непреклонным. Передал только через жену свою, чтобы взял Симург что захочет из мебели, оставшейся от отца, и чтобы присоединил к своей комнате еще одну. Симург отказался наотрез и от мебели, и от комнаты, сказал, что пока ему ничего не нужно, а когда понадобится, что-нибудь сам придумает. Ссору с братом переживал несказанно и приходил к Джалил муаллиму два раза – первый раз с женой Дильбер, а второй раз один. Оба раза Джалил муаллим с ним говорить отказался и через жену свою Лейлу ханум, здесь же присутствующую, сказал брату, чтобы тот больше на эту половину не приходил и вообще забыл, что был когда-то у него брат по имени Джалил.

Постоял Симург у порога, понял, зная своего брата, что решение это окончательное, и ушел. И лицо у него было несчастное. Впрочем, Джалил муаллим лица его не видел, потому что в сторону брата не посмотрел, как будто его и в комнате не было, и разговаривал он с ним, как это уже было сказано, через Лейлу ханум, которая всю эту историю очень переживала и несколько раз плакала — и во время разговора братьев, и потом, в одиночестве.

Сильно ошибся бы человек, который, приглядевшись к спокойному внешнему виду Джалил муаллима, решил бы, что он не потрясен до самой глубины души ссорой с единственным братом своим. Значит, этот немудрый человек ничего не знает о людях, свое горе напоказ не выставляющих, а несущих его в себе, как и подобает уважающему себя мужчине. Когда приходили к Джалил муаллиму родственники и друзья, чьим мнением он всегда дорожил, с соболезнованиями и осуждением действий Симурга, избравшего в спутницы жизни совместной особу недостойную, сорвавшего из чужого сада цветов неказистый, даже тогда Джалил муаллим своего отношения к брату вслух не высказывал, а, выслушав их до конца, переводил разговор на другую тему — политику или текущих событий, имеющих место в стране или на улице. Иногда, словно очнувшись, спрашивал у себя Джалил муаллим, как же он может жить без брата Симурга, не видеть его у себя за столом, не слышать голоса его и смеха. Но отгонял он от себя немедленно эти думы, потому что обидел его брат страшной обидой.

Стал Джалил муаллим, сам не замечая этого, превращаться в человека угрюмого и нелюдимого. Но происходило все это незаметно, приблизительно так же, как незаметно для себя и окружающих покрывается лицо человека со временем морщинами, исчезает в глазах блеск, а в бороде в результате этой недоброй алхимии появляются нити серебряные, до смерти цвета своего уже не меняющие.

А на другой половине двора жизнь шла своим чередом. К брату часто приходили гости, и тогда до Джалил муаллима доносился дым и запах шашлыка. Первое время брат, как и положено, присылал Джалил муаллиму через нейтрального человека — двоюродного брата Дильбер — несколько шампуров, но каждый раз Джалил муаллим отсылал шашлык обратно.

После ужина семья Симурга давала концерт — сам он еще с детства прекрасно умел играть на таре, на бубне ему подыгрывал племянник Дильбер, сын ее старшей сестры, днюющий и ночующий у Симурга со дня его женитьбы.

Дильбер пела, сама аккомпанируя себе на пианино. Темно-бордовое немецкое пианино Симург купил недавно, и доставка его из магазина в дом в субботу вызвала у соседей оживленные толки. Дильбер пела приятным голосом, гости кричали «машаллах» и дружно подпевали в нужных местах «мулейли» и «берибах». Впрочем, ни один концерт ни разу не закончился позже полуночи — видно, Симург тщательно следил за тем, чтобы не доставить беспокойства брату. В эти дни в доме у Джалил муаллима говорили все шепотом, а сам он угрюмо сидел у окна, выходящего на улицу; очень ему было обидно, что в отцовском доме собираются столь недостойные люди, как родственники и приятели жены брата — лачарки! Летом концерты устраивались почти каждый вечер, и даже тогда, когда не было гостей — видимо, для собственного удовольствия.

Постепенно Джалил муаллим привык к ним и обращал внимание на музыку не больше, чем на рокот котлов.

Еще удивило и чрезвычайно огорчило его, что все, кто раньше осуждал Симурга, со временем вроде бы совершенно забыли об этом и теперь дружили с Симургом семьями и приходили к нему часто в гости. Вот это окончательно сбивало с толку.

Джалил муаллим был уверен, что ему не показалось, когда увидел на половине брата прокурора Гасанова с женой. Знал он, что и жена его, и собственные дети в отсутствие его ходят к брату и, по всей вероятности, общаются не только с ним, а и с Дильбер. И это тоже огорчало его и причиняло душевные страдания.

Иногда с другой стороны двора доносились крики, явление в этом доме неслыханное со дня его постройки дедом Джалил муаллима в 1891 году. Это брат ссорился со своей женой.

Однажды поздней летней ночью, разбуженный очередной их ссорой, Джалил муаллим плюнул и ушел с помоста домой. Тихо, стараясь не разбудить жену, лег рядом с нею на свою кровать, стремясь поскорее впасть в сонное забытие...

Дильбер он увидел издали на углу. Она шла ему навстречу в ярком солнечном свете, насквозь пронизавшем тонкую ткань ее платья, словно обнаженная в теплом свете, улыбаясь ему при этом своей обычной улыбкой, манящей и ласковой. И он, как всегда, испытал радость оттого, что увидел ее. Она подошла к нему вплотную и положила ладони ему на грудь, и тепло от них проникло ему до сердца. «Я тебя жду очень давно, — сказала она, приблизив к нему лицо. — Куда ты меня сегодня поведешь?» Глаза у Дильбер светились радостью, а кожа лица, и губы, и зубы у нее были прохладные. Они шли по аллеям какого-то парка со странными диковинными деревьями, и Джалил муаллим никак не мог вспомнить, что это за парк, хотя он точно знал, что бывал здесь когда-то. Ощущение силы переполняло его. Он ощущал силу во всем теле своем, и голову ему кружил и дурманил сладостный запах цветов. Он вдруг вспомнил, что это запах олеандров. Он сидел с Дильбер на скамье у самой чащи. Она, положив голову ему на грудь, говорила слова непонятные и волнующие, а он испытывал радость и счастье, до сих пор им не изведенное. Она помещалась у него в руках вся целиком, и ему передавался трепет ее тела. Слушал он, пьянея от счастья, ее горячий сбивчивый шепот, и была в словах Дильбер любовь к нему безмерная. Говорила она ему, что полюбила его с первого взгляда в тот день, когда встретила на углу. Говорила, что не расстанется с ним до самой смерти, называла единственным, самым желанным и любимым. Джалил муаллим целовал ей глаза и губы, и не было счастливее его на земле человека. Он вспоминал каждый миг со дня первой их встречи, и каждый миг был ему дороже всей остальной прожитой жизни. Издали доносилась музыка, непонятная и грустная, Джалил муаллим никак не мог вспомнить, где он слышал эту музыку. И ложилась от нее на сердце тенью грусть мимолетная... А потом Джалил муаллим увидел, как по аллее прямо на них идет человек. Когда тот приблизился, узнал он своего соседа Керима и поздоровался с ним, но тот прошел, не замечая ни Дильбер, ни Джалил муаллима. И все проходящие — и Мамед, и прокурор Гасанов, и Манаф с женой, и многие-многие другие — не видели их скамьи. Все, кроме Мариам ханум; она остановилась ненадолго рядом и посмотрела на них обоих, и вдруг улыбнулась такой счастливой улыбкой, какой улыбалась в последний раз только при покойном муже своем Байрам-беке. Она пошла дальше, и лицо у нее при этом было доброе и спокойное, и Джалил муаллим почувствовал, что рада мать, увидев их вместе. Потом он стал думать, что это за парк, в котором находится с Дильбер, и вдруг вспомнил... Было ему тогда десять лет, и пришел он сюда с товарищами после школы. Они, спрятавшись в кустах, увидели на этой самой скамейке какого-то солдата, целовавшегося с девушкой. Он вспомнил, какое счастливое лицо было у солдата при этом и как они оба — солдат и его девушка — испуганно вскочили с места и убежали, когда мальчишки заорали и заулюлюкали в кустах. Он обнял

Дильбер, и она в томлении потянулась к нему. Он расстегнул ей платье и увидел ее грудь, упругую, с тонкой белой кожей, с розовыми упругими сосками. «Целуй меня скорее! Я знаю, сейчас все пропадет, — сдавленным голосом сказала Дильбер. — Почему ты не целуешь меня?» Он увидел глаза ее, светящиеся жарким ослепляющим светом, вдохнул в себя ее жаркое дыхание, и до него донеслись далеким эхом ее слова: «Не смей меня больше называть Рахшандой, слышишь, не смей! Меня зовут Дильбер!» — «Я не называл тебя Рахшандой, я знаю, что ты Дильбер», — удивленно, но ощущая в глубине души смятение, сказал Джалил муаллим и проснулся.

...Он очнулся, и руки его продолжали судорожно сжимать ее плечи, и на губах его оставался вкус ее губ. Он лежал в предутренней прохладной темноте комнаты, в смятении вспоминая этот сон, снившийся ему каждую ночь на протяжении многих месяцев. Через несколько мгновений он заснул снова, чтобы наутро начисто забыть все.

Какие-то неясные, туманные обрывки иногда по утрам беспокоили его, мелькали в сознании, никак не соглашаясь соединиться в целое, несмотря на все его усилия, столь же тщетные и невозможные, как нельзя восстановить по обрывку провода телефонный разговор двух влюбленных, даже если этот разговор пробежал по нему всего лишь одно мгновение назад...

Наконец, улучив удобный момент, Джалил муаллим попрощался с Длинноухим Кямалом и со всеми знакомыми, поблагодарил чайханщика Азиза за прекрасный чай и вышел на улицу.

Дома он застал участкового врача из поликлиники, пришедшего по вызову Лейлы ханум. Последнее время у нее побаливало в боку. К его приходу осмотр был закончен. Врач, небольшого роста седой человек, сложил в чемоданчик инструменты и, подойдя к столу, выписал несколько направлений на анализы и исследования. Он подробно объяснил, куда и когда надо пойти на процедуры, потом попрощался и совсем было собрался уйти, но Джалил муаллим задержал его и пригласил позавтракать. После долгого разговора с Длинноухим Кямалом нервная система Джалил муаллима нуждалась в общении с интеллигентным человеком.

Врач посмотрел на часы, подумал и сказал, что он уже завтракал, но вот стакан чая выпьет с удовольствием. Лейла ханум быстро накрыла на стол, принесла сыр, масло, мед.

За столом Джалил муаллим говорил о медицине, высказал свое мнение по наиболее важным и актуальным проблемам сохранения здоровья человека, живущего в современных городских условиях. Врач слушал внимательно, прикладывая к уху сложенную ковшиком ладонь: он был глуховат.

— Вот, например, доктор, я объясняю им, — Джалил муаллим кивнул на свою семью, — что утром человек должен есть умеренно. Хлеб, масло, сыр — самая здоровая пища, а они с трудом соглашаются. Я говорю, если хочешь долго жить и быть здоровым — ешь по утрам только так...

Доктор возразил на это, что утром, перед рабочим днем, не мешает плотно поесть, набраться, так сказать, необходимых калорий. Джалил муаллим с гостем спорить не стал.

— Может быть, — великодушно, не настаивая, сказал он. — Но у нас в семье еще во времена деда, я помню, за завтраком ели только так, и все были очень здоровыми, нормальными людьми, никто никогда ничем серьезным не болел. И жили долго.

Врач попрощался, взял свой чемоданчик и пошел к выходу. Все встали и проводили его до дверей. В передней врач еще раз попросил заботливо Лейлу ханум не опаздывать с анализами, поблагодарил за чай, приподнял над головой шляпу и поцеловал ей руку.

Джалил муаллим посмотрел на это с отвращением и сразу же ушел в комнату. Когда врач обернулся, хозяина дома он не увидел. Он, наверное, удивился, но ничего не сказал. Только еле-еле заметно улыбнулся. А Джалил муаллим подумал после его ухода, что врач этот, с виду вполне приличный человек, пожилой и благообразный, до сих пор не знает, как надо себя вести.

Джалил муаллим спустился во двор. Солнце стояло уже высоко, и его лучи ощутимо припекали голову. Он некоторое время понаблюдал за пчелами, которые развили дневную деятельность, непрерывно транспортируя нектар от раскрывшихся цветов к ульям, но наблюдал рассеянно, не получая обычного удовлетворения. Он вскапывал теплую, еще влажную после утреннего полива землю грядок, стараясь найти в работе успокоение и разрядку. Обувь он снял и работал босиком. Он старался представить себе, как уходит в землю через кожу ступней напряжение, накопившееся в нем с утра, но сегодня почему-то вообразить это ему не удалось.

С половины брата доносились голоса. К нему пришли Манаф и его жена. Джалил муаллим чувствовал, как он ненавидит и Манафа с его дочерью и женой, и Симурга, и больше всего себя.

Он не знал, о чем они говорят, но его остро раздражали звуки их голосов, сам вид их, снующих по двору его отцовского дома.

Всего его трясло от безудержной ненависти и злости. Джалил муаллим яростно вскапывал землю, пот застилал ему глаза, и ему казалось, что мозг его плавится от злости и солнца. Он не знал, куда ему уйти от этого, и снова вспомнил услышанную ночью ссору на половине брата и почувствовал, как перехватило ему горло.

Если бы в этот момент кто-нибудь заговорил с ним, то ответа от него не сумел бы добиться, потому что Джалил муаллим не в состоянии был разомкнуть стиснутые челюсти. Он отбросил лопату и бесцельно заходил по саду, не в состоянии остановиться и постоять на одном месте. Он ничего не видел и не слышал, кроме шума котлов, и ему вдруг показалось, что клетот этот раздается у него в голове, целиком заполняя ее и почти ощутимо пробиваясь на волю, силой раздвигая во все стороны стенки черепа.

Ему очень хотелось закричать, крик рвался из глубины души, но застревал в перехваченном горле. Он остановился, натолкнувшись на один из ульев, и в то же мгновение ему показалось, что душная волна изо всех сил упруго ударила его в лицо.

Вслед за этим пламенем обожгло ему кожу лица, шеи, плеч и груди, оставило вкус медного металла на языке и небе.

Он обеими руками стер с себя живой жужжащий слой пчел, который бросился всем роем на его тело, излучающее пульсирующие жесткие волны ненависти и злобы, безотказно действующий слепой инстинкт самосохранения.

И тут он закричал первый раз в жизни. Страшен был этот крик, и слышно его было далеко за пределами двора.

Он стоял посреди своего двора и кричал брату все, что он о нем думает. О нем и его семье. Он прокричал все, что накопилось в его душе за долгое, бесконечно и мучительно тянувшееся время, наступившее после того, как Симург вернулся домой из армии.

Джалил муаллим кричал, а его безмолвно, в изумлении слушали все — и жена его, и дети, и все на половине брата. И в глазах их и в сердцах были тоска и страх...

Все сказал Джалил муаллим в своем крике, все, что накипело у него на душе. Потом почувствовал себя плохо. Он прошел в дом, умылся холодной водой и прилег на кровать. Он трогал лицо и чувствовал кончиками пальцев, как оно отекает, потом он почувствовал, что ему не хватает воздуха. Джалил муаллим подошел к окну и отворил его. Возвращаясь к кровати, он заглянул в зеркало и увидел, что лицо у него покрылось неровными багровыми пятнами. Он снова лег, попросил жену, чтобы она принесла ему мокрое полотенце на лоб и прерывающимся голосом, но твердо приказал ей оставить его в покое и никакого врача к нему не вызывать. Потом все поплыло у него в глазах, и он зажмурился. Спустя какое-то время он увидел склонившегося над собой Симурга. Джалил муаллим, качаясь, поднялся с кровати и показал Симургу на дверь.

— Убирайся, — сиплым шепотом сказал он. — Немедленно убирайся! Я же запретил тебе приходить сюда!

— Хватит! Слушай, хватит наконец! — в отчаянии закричал Симург. — Ты же умираешь!

Джалил муаллим с любопытством посмотрел на брата и увидел, что он плачет. Потом задумался и неожиданно для себя сказал так, как будто говорит не он, а за него кто-то посторонний.

— Да. Я умираю, — он хотел сказать еще что-то, но вдруг увидел, что у Симурга седые виски, и это его очень удивило и огорчило.

Он стал думать, отчего это у Симурга могла бы поседеть голова, и не увидел, как брат побежал за врачом. Он не чувствовал, как врач, тот самый, который ушел от них два часа назад, трясущимися руками за неимением специальной сыворотки от яда делал ему укол кофеина, и не чувствовал, как Симург, обливаясь слезами, старался влить ему в рот хотя бы один глоток кофе. Он ничего этого не чувствовал, потому что говорил брату о том, как он его любит, и попросил его подойти поближе, чтобы он мог его обнять.

— Он что-то хочет сказать, по-моему, — прошептал врач, изо всех сил массируя ему сердце.

У Джалил муаллима несколько раз еле заметно дрогнули губы. Ему было удивительно спокойно и хорошо так лежать в окружении всех своих родных, и он продолжал говорить. Он говорил, что ему очень жаль, что из-за каких-то нестоящих пустяков они столько времени не виделись, но, в общем, все это поправимо, лишь бы все были живы и здоровы

и любили бы друг друга, как подобает родным людям. Он с изумлением спрашивал у Симурга: во имя чего столько времени они безжалостно мучили друг друга?

Он ощущал в голове необыкновенную ясность, и все чувства его были чрезвычайно обострены, но он не услышал, что ему ответил брат, потому что все звуки перекрывал с каждым мгновением все усиливающийся громopodobный рокот котлов.